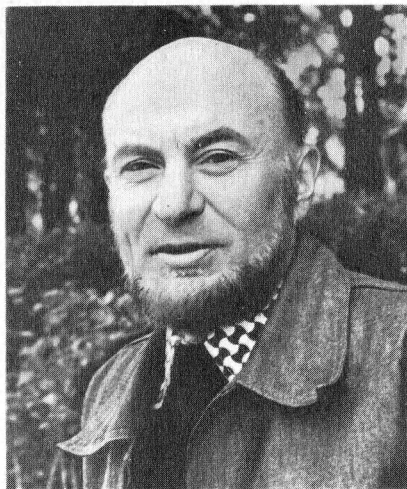


Библиотека советской фантастики

Дмитрий ШАШУРИН

ПЕЧОРНЫЙ ДЕНЬ





ОБ АВТОРЕ

Шашурин Дмитрий Михайлович представляет поколение, биография которого определялась в годы Великой Отечественной войны. Во время войны он окончил Саратовский сельскохозяйственный институт, потом военно-инженерное училище в Сибири. С 1944 года в действующей армии — гвардеец парашютист-подрывник, командир десантного взвода, потом саперной роты. Бои за Будапешт, Вену, Прагу. После войны, работая журналистом, писал очерки, рассказы, сказки, которые вошли в книги, выпущенные издательствами «Детская литература», «Молодая гвардия», «Советский писатель». Первый фантастический рассказ — «Зачем вспоминать сосны?» — опубликован в сборнике «Фантастика 69 — 70». С тех пор этот жанр все больше привлекает писателя, и не только на литературном поприще. В 1974 году живописный цикл Д. Шашурина «Внеземные пейзажи» отмечен почетным дипломом на международном конкурсе художников-фантастов журнала «Техника — молодежи».



БИБЛИОТЕКА
СОВЕТСКОЙ
ФАНТАСТИКИ



Библиотека советской фантастики

Дмитрий ШАШУРИН

**ПЕЧОРНЫЙ
ДЕНЬ**

Рассказы и повесть

Москва
«Молодая гвардия»
1979

P2
Ш32

Художник Г. МЕТЧЕНКО

Ш $\frac{70302-087}{078(02)-79}$ 239—79. 4700000000

© Издательство «Молодая гвардия», 1979 г.

рассказы





ЗАЧЕМ ВСПОМИНАТЬ СОСНЫ?

Забыть, как в жару пахнет от сосен смолой, хвоей, чтобы и не вспомнить никогда. Нельзя помнить. Не помнить лучше. Жара. Сосны. Сладость. Сладость? Сладость?.. Постой!

И он приходит в себя. Очнулся после контузии. Он лежит на хвое под соснами. Пахнет смолой и хвоей. Сладость. И сам себя просит, баюкает, утешает: не помни! Забыл и потерял сознание.

Через десять лет как-то на даче в Бугзанове, когда сидел на хвое под соснами, снова... И не так уж жарко, ветерок над прудом. Прошумели сосны, пахнуло смолой.

Зачем забывать? Что? Не госпиталь, не взрывы в лесу, да и не сама война. Сосны. И вот это сознание, что

нельзя вспоминать. Но теперь он вспомнит, он знал, что вспомнит, почему был запрет и что запрещено.

Сладкий запах смолы, а на языке тоже сладость, ощущение сладости, от которой стиралось, исчезало из памяти... Что исчезало?

Он вспомнит, не выходя из полудремы, уравновешенности, вот здесь, на берегу пруда под соснами, в Бузганове. Вспомнит о тех, других соснах, которые начинались за буграми кирпичного завода. Когда-то завод обжигал кирпич, потом печи закопали — получились бугры, наполовину из глины, наполовину из горелого битого кирпича, золы, шлака. Хоть полдень, а они цветом словно краснеют на заходе в сумерках. За буграми сосны. Там солнце, тишина и таинственность. Это еще можно вспоминать.

Каждый раз, когда они вдвоем с Горкой пробирались за бугры, останавливались, чтобы привыкнуть к напору света. Бугры, лес, они с Горкой на опушке — всегда было в памяти и без труда возникало явственно, когда он только хотел, думая о детстве, деревне, лесах, которые тянулись, как говорили, без конца. Но сейчас он чувствовал, что вспомнит другое, то, что затемнено в памяти нарочно, может быть, насильно.

Он медлил, сравнивая с отаптыванием площадки в снегу, чтобы можно было вернуться, чтобы начать снова, опереться, когда провалишься на нехоженом. Ведь очевидно же, они с Горкой охотнее бы сидели на речке в жару. А приходили к соснам, будто не на своих ногах, и не знали зачем. Шли не сговариваясь, брели, но остерегались, не увязался бы кто из сверстников. Если б увязался, значит, повернули, не пошли бы к соснам. Это он понял только теперь, остановив воспоминания.

Может быть, еще пахло и можжевельником, даже наверняка, потому что аромат можжевельника куда слаще, чем аромат сосновой смолы. Ну да, там было полно кустов можжевельника, осыпанных словно заиндевевшими ягодами. Его ветки охапками приносили в избы, где бы-

ли покойники, и на поминках всегда пахло можжевельником и ладаном. От этого и в лесу тоже чудился ладан, и становилось жутко. Так просто испугаться гадюки, которую увидеть еще проще: принять сучок за гадюку и засверкать пятками к буграм, через бугры, и потом щупать друг у друга и сравнивать, у кого как колотится сердце, и вспоминать, как гадюка свернулась клубком и помчалась вслед. Так просто!

Но они с Горкой уходят под сосны, глубже в лес.

Мох на кочках пересох, щекочет ступни и ломается, потрескивая, отлупливаются чешуйки коры на соснах. Горка оглядывается, высматривает. Конечно, теперь понятно — это заданность, заданность поведения. Он сейчас вспомнит, вот-вот отдернется занавес. Но занавес не открывается, а становится прозрачным. За ним просвечивает сруб. Сосны стоят колоннами, бревна сруба пересекают их поперек.

И все-таки он сорвался или, если придерживаться сравнения со снегом, провалился в неведение, как в сугроб. Вот они подошли к срубам. Сруб погружен нижним венцом в мох. Стоит не на бревнах-подставках по углам, как обычно, просто на мху. Или уходит, как колодец, глубоко под землю? Сруб без единого проема во всех стенках — без окон, без дверей полна горница людей... Здесь и произошел срыв, провал. Картинки замелькали слишком быстро, беспорядочно, туманно.

...Они с Горкой внутри, и это не сруб, а комната, и не комната — аптека.

Вот они опять в лесу и, друг перед другом хвастая, сосут по конфете. Сладость. Предметы в той аптеке. Блестят вроде самовара или трубы до потолка, шириной с бочку. Пузырь как из льда. Полки, дощечки с черточками, значками. И есть часы, хотя они не часы. Еще что-то, не понять. Он разговаривает, но не с Горкой. Ставится отвечать. А Горка за стенкой из стекла крутит

ручку вроде веялки. В тумане, в неопределенности. Было или не было?

Догадки навязывают памяти, чтобы привиделось, как догадывается. Но он вырывается, и ему удастся остановить ленту, чтобы опять отоптаться.

Теперь он начинает с деревни. Железная дорога далеко, там и район. Только там, в районе, больница и аптека, а не в деревне, не в лесу. Лес. Речка из леса да в лес. Под склоном. Никаких экспедиций, научных станций, лабораторий...

Ага, лаборатория! Немедленно подсказались всякие лаборатории: в санчасти, в поликлинике, заводские. Вместо неизвестно чего — стеллаж, вместо не то трубы, не то самовара — центрифуга. Пожалуйста! Просто! Разумно! Логично! Он зажмурился. Привычное раздирало, крошило, переиначивало, сбивало с дороги. И уже думалось, что так и было. Но тревога предоткровения не оставляла его даже тогда, когда он проваливался. Кажется, она смыкалась тогда над ним и вокруг.

Почему-то в лесу, там за буграми, всегда тишина. Ни кукушек, ни дятлов, ни хотя бы синиц. Птицы-то им чем помешали? Им?! Кому им?!

Ведь мог же вот так вспомниться сон? И лучше, и проще, если сон. Или похоже, как во сне вспоминаешь другой сон. Конечно, они с Горкой сосали конфеты. Даже сейчас ощущается та сладость. Он проглатывает слюну. И чувство, что они освободились, отработали и теперь можно на реку. Но ведь они не говорили об этом никогда. Нет, не сон!

Начинать с деревни... Из деревни быстро пришел ответ. «Нашет как вы интересуетесь сообщаю Егор Васильевич с фронта не вернулся и похоронной по ему не было. Ихний дом, заколоченный с самого начала войны. Предположительно Егор может окажется живет где ни есть по стране а рыба ловица, на кольцо и лещи и язи:

когда заходит сазан. Или судак больше по перекатам только кирпичный завод обратно не работает».

Начинать с деревни. Но что даст поездка? Ну уйду за бугры. А как узнать — пригрезилось или нет? Было или не было? Он поехал.

Горка залезал на стеллажи. Горка и в деревне везде лазил. На пасху треснулся с верхней перекладины качелей. Никто не останавливал Горку, когда он лазил по стеллажам в аптеке, в лаборатории. Горка и он. Кто же тогда давал им конфеты? Каждый раз, чтобы забывали обо всем. И сейчас, когда он воображал, что сосет конфету, воспоминания путались, теряли очертания, накладывались на другие, и его одолевали лень, пассивность, недовольство.

В поезде сквозь дремоту настойчиво представлялось, как на голове у Горки стоит блестящий луч и, похоже, погружается Горке в череп или сам по себе делается короче. И пока добирался до деревни на попутных грузовиках, он все старался представить яснее, извлечь из тумана и не мог. Только один раз увидел, и то скорее мелькнуло, что не луч, а стержень с проводами.

Как он и ожидал, Дерьяныч мельтешил и сводил все разговоры к рыбалке. И даже хуже, чем ожидал. Никак нельзя было вырваться от Дерьяныча и пойти в лес. И про Горку Дерьяныч не рассказывал, тоже вопреки ожиданиям.

— Егор те, кто его знаит, — тянул Дерьяныч, отводя глаза.

Резиновые сапоги обладают свойством зачерпывать воду как раз, когда холодно. И уж потом солнце взойдет, а никак не отогреешься, бьет дрожь. Он зачерпнул в сапог, садясь в лодку. В тумане, в холоде, на рассвете.

Озлился и восстал. Потребовал, чтобы Дерьяныч один выгребал к камышам, а сам назад в хату.

— Переобуюсь, я те свистну.

Переобувался так, будто справлялся с сапогом,

портянкой, с ногой за их проступки, им и еще кому-то назло. И пошел не к реке, а задами к лесу. Через бугры не полез, обошел стороной. У первых сосен присел на пенек и, закрыв глаза, вдыхал аромат смолы, хвой.

Сначала он был уверен, что вскоре встал с пня, углубился в лес, нашел сруб, вошел, и его ошеломил блеск и необычный вид оборудования, потом стал сомневаться, выходило вроде, что он не открывал даже глаз, так и просидел на пне.

Еще несколько мгновений спустя он уже удивлялся, зачем его понесло в лес, когда так хотел порыбачить, да и Дерьяныч ждет. Надо ж, приехал на рыбалку, а потащился в лес!..

— Эй, фью! Давай! — Он стоял у реки, и к берегу подгребал Дерьяныч.

Они ловили язей. Забрасывали от камышей на течение, где струя слегка закручивалась, завихрялась. Как только поплавок утягивало на всю длину лески, он вздрагивал и тонул в глубине.

— Подсекай, хреновина, — шипел Дерьяныч. Удилище гнуло, и к поверхности, сопротивляясь, краснея перьями, желтея чешуей, выходил язь.

— Упаси бог! Не тяни поверху! — волновался каждый раз Дерьяныч. Поверху язь кувыркался, плясал, бултыхаясь, и обрывал либо леску, либо собственную губу. Полагалось подтягивать язя к лодке вполводы и только у самого борта поднимать, чтобы завести в подсачек. С каждым проплывом все дальше уходил поплавок, прежде чем утонуть, и им изо всех сил приходилось вытягивать руки с удилищами, чтобы поймать еще язя и еще.

К вечерней заре они прикрутили к удилищам по метровой палке и жалели, что нет у них снастей с соединительными трубками. На следующий день язи не брали, и они в поисках места клева избороздили все заводи. Дерьяныч ухмылялся и поглядывал хитро.

— Слышь, а я думал, ты пойдешь сразу в лес да заблукаться, как Егор, бывало. С утра и аж до ночи! — Дерьяныч опять подмигивал ему.

Он не понимал намеков, и уже не всплывало у него никаких воспоминаний. Да и были ли воспоминания?

Дерьяныч рассказал, что Егора считали в деревне чудаком. Егор порой удивлял разговорами, будто у него в голове вроде крутится машинка наподобие приемника.

— А Егор-то, слышь, и про тебя называл, будто и у тебя тожесть машинка-то. — Дерьяныч постукал себя по темени. — Вот я и мечтал, что ты будешь блукать по лесу. Значит, враки. Ну ведь и слава богу!

Он слушал Дерьяныча незаинтересованно, будто и не слышал, как-то сразу пропадал смысл сказанного вначале, и звучащие слова не подходили ни к чему и от этого, в свою очередь, теряли смысл. Если б он вслушался, вник, он бы понял, конечно, но и тогда счел бы все пустой болтовней, лишенной основания,



ПСОВАЯ ОХОТА

Именно из-за его мечтаний у меня теперь нет, не осталось ничего, ну если не фотографии, то хоть бы свидетельства — все-таки кто-нибудь заинтересовался, не обязательно же подозревать всегда обман.

Одно дело, если я буду говорить: видел; другое дело, если покажу снимок. Но нет у меня этой фотографии. Он потому мне ее и не дал, что считал — не доказывает и не подтверждает она его открытия. Любой, говорит, скажет — переснято с журнала, а то кадр из кино или телефильма.

Здесь один из краеугольных камней его мечтаний: никому нельзя доказать то, чего они не хотят знать, принимать, исповедовать. Особенно непривычное, из ряда вон выходящее. Всегда, говорил, выведут к азбуке и несколько не взволнуются, а ты будешь возмущаться и не

спать по ночам. Он-то спал, и здоровье было у него отменное. Только неизвестно, где он теперь. Исчез. И получается, ради своих опытов.

Опыты, опыты. Это он говорил, что опыты, а по моему, так самое обыкновенное копошение на участке в коллективном саду. Видишь, говорил, даже тебе нельзя доказать, что опыты. Если б я выращивал редиску хвостиком вверх, ботвой вниз, ты бы поверил, потому что — азбука! А сам только и делал, что колупнет почву, потрогает растение и приглядывается, без инструментов, без приборов: в природе все есть, она все создает без помощи какой бы то ни было техники. Ну как же, говорю, чтобы самое, уж самое природное — колос хлебный вырастить, нужен плуг, трактор... Но он не спорит, улыбается слегка, иногда покажет в книжке или в журнале упоминание, что там-то собрали огромный урожай, а не пахали, в другом месте — и не сеяли. Это калеке такая грубость, как костыли, необходима, говорил, природа же ориентируется на норму.

И порой так оседлает своего конька, никак не открутишься: говори, чего в природе нет? В технике есть, а в природе отсутствует? Чего ни назовешь, сразу же срезает, находит в природе аналог. Выходило по нему, что современная техника — сплошная грубость, хоть и сложная, и тонкая, а по своему подходу примитивна, совершенство и тонкость — это рычаг, блок. Естественные вещи: подвел под камень лом — и стронешь с места; перекинул через балку веревку — и поднимаешь груз. Призывал искать другие пути и ставил в пример солнечные батареи, он прощал им даже сложность: делают свое без грубостей. Мы ведь как медведь, который дуги гнул, да грубо, ломал ведь дуги-то! Погибнем, если не научимся действовать без грубостей. Не может же быть, чтобы корова не могла давать молока без нажатия на соски. Следует попробовать дрессировать коров или другие найти к ним подходы, но не пристраивать к коровам

машины. Так мы дойдем, и для себя начнем жевальные... да, тьфу, есть уже мясорубки! Ну, значит, глотальные будем изобретать машины, не глотаются же, например, в космосе. Вы еще не получили открытку на суперглотатель «Морж»? Записывайтесь на автоморгатели «Кубышка». Медведи!

Итак, другой подход. Отсюда и опыты и мечтания. Мечтания эти он толковал так. Рассказывал, как застал однажды в детстве своего деда в саду с саженцем и лопатой в руках. Долго стоял и не двигался дед. «Чего ты, дедушка, ждешь?» — «А я не жду, я мечтаю, где посадить яблоньку», — ответил дед. Посадил — до сих пор цела, не вымерзла, не засохла, и лучшие на ней яблоки в округе. Вот и запало такое значение мечтания. Созерцание, пока само собой не прозреется решение. По-моему же, чистая бездеятельность. Правильно, говорил, ничего не делаю, потому не знаю как, не знаю, что по-другому, и в то же время получается уже потому, что ничего не делаю, ставлю все-таки опыт. В природе ничего — все. Взять хоть бы радио. Не было его вроде. Но вот изобрели, лучше сказать, набрали на него, и поехало, повело, начались грубости по линии усложнений да переусложнений. Погляди только на приемники, чего в них не напихано, и цена астрономическая, толпятся около них в магазинах, плят очи жадные, но ни у кого нет в карманах таких денег. Природа же всегда радиоволны колыхала, разгоняла их в хвост и в гриву и за тысячи и за миллионы не то что километров — парсеков! Межгалактические приемники-передатчики, задаром и без грубостей — анодиков, катодиков. Эва! Думаешь, телевидения нет в природе? Есть и телевидение. Есть.

Тут он стал без конца повторять: есть и телевидение, есть и телевидение, а глаза почти закатил, краешек только остался радужной оболочки — одни белки. Потом он признался, что именно в тот момент его осенило, как поставить опыт второй категории. Те же опыты, которые

для меня вовсе и не опыты, он относил к низшей, первой категории.

Я-то, конечно, не придавал значения ни категориям, ни рассуждениям, только насторожило меня это.

Хотя многие люди тоже, задумавшись, иногда закатывали глаза. Просто у него я этого не замечал раньше, или, возможно, он тогда закатил глаза как-то по-особенному. И сейчас, и вскоре после всего, что там накрутилось, мне мнится какая-то особенность в этом тогдашнем его закатывании глаз. А ну-ка оно соответствует постоянному бормотанию о поисках иных подходов, дрессировке — перестройке организмов изнутри, вдруг это и было по-другому, автодрессировка, самопереключение на новое действие, новые контакты, как он говаривал, без грубостей. Ведь чем-то поразило меня в конце концов ничего поразительного не представляющее легкое закатывание глаз? С другой стороны, не исключено, что я сам выпадаю в мечтания и ничего не было и нет. Хотя...

Хотя... Похоже, что он поставил все-таки опыт второй категории или... третьей, как мне сейчас пришло в голову. Пришло, когда я невольно сравнил свое отношение к его мечтаниям до и после увиденного. Мне уже хочется называть их одержимостью, увлеченностью или, еще хуже, прозрением. Хуже для меня... Хотя... Вот я и застрял на этих «хотя». По порядку было так. Не помню точно, сколько прошло после знаменательного закатывания глаз, как он зазвал меня к себе на участок и показал фотографию.

Я сразу ему сказал, что переснято с журнала. Ну да, я первый и единственный, кто видел фотографию, сказал ему про журнал, свел, по его терминологии, к азбуке. Мало того, я еще... Нет, сначала, что было на снимке. На нем была псовая охота. Сдвинутые от быстрого движения и смазанные от большой экспозиции силуэты лошадей с всадниками, верхушки деревьев на заднем плане. Впереди всех фигур борзые собаки — от одной,

передней, только хвост попал в кадр, вторая, задняя, вся на бегу. Тоже смазанный силуэт, но глаз получился хорошо, с бликом, четкий. Можно предположить, что собака в момент фотографирования дернула головой назад, и глаз, таким образом, вышел четко. Настоящая барская псовая охота. У одного всадника через плечо надета блестящая труба, которой сзывают собак. На нескольких — охотничьи камзолы и жокейские картузы. Картузы, вероятно, черные, камзолы, судя по светлomu, почти белесому тону — фотография была черно-белой, — красные. По английской моде. Между всадниками высывалась высокая шляпа. Амазонка? Тут я и начал распи- наться насчет журнала, кино- и телекадра. И сверх того, я сказал, что, собственно, фотография не может вклю- чаться в методику его опытов, как произведенная с помощью линз, затворов, пленки — грубостей техники, одним словом. Зато потом он и не отдал мне эту фото- графию, лишь повторял про журнал, кино и методику. Как я ни просил. И если про журнал и кино он повто- рял с иронией или сарказмом, то про методику говорил вполне серьезно, даже с признательностью. Он искренне согласился со мной, а мне оставалось только ахать, гля- дя, как он рвет фотографию. Ночью пошел дождь, раз- разилась ливень, перешедший в град, ветер ломал де- ревя.

Если бы я знал, что погубил все своей болтливостью! Мне кажется, и он, если б знал про ветер и грозу, не порвал бы фотографию. Но самое главное, самое удиви- тельное, что я посмотрел на ту охоту с фотографии в натуре — в движении и в цвете. Камзолы, более свет- лые на снимке, действительно оказались красными, цве- та «кардинал», а картузы на охотниках из черного бар- хата. Смотреть надо было точно за полчаса перед зака- том. Он вывел меня на участок и поставил к колышку, перевязанному лентой из бумаги, каждой ногой на до- щечки, вкопанные между грядками, положил на колышек

рейку и заставил меня наклониться так, чтобы брови оказались на уровне специальной зарубки на колышке, и тут же принял рейку. На меня неслась псовая охота. Беззвучно ударяли копыта в землю, из-под копыт летели и шлепались комья, но не слышалось шлепков, собаки без лая разевали пасти. Я приподнял голову — все исчезло, опустил — как раз тот самый кадр: борзая на мгновение с неподвижным глазом, на заднем плане амазонка. Она быстро приближалась на гнедом коне, газовый шарф, повязанный на шляпе, вздувался за ней, как знамя. Промелькнула... ослепительно рыжая, кареглазая, розово-белая кожа, мушка на щеке... И снова скакали на меня всадники в красных камзолах, за ними егеря в галунах и войлочных шапках, последний на низкорослом чалом коне. Чалый — эту масть я называю с гордостью, запомнил в детстве из-за необычного звучания и загадочности. Другие увидят и определяют: бежевая лошадь или конь цвета кофе с молоком. Чалая. Проскакали. Открылся луг, за лугом, как и сейчас, лес, только не осинник, дубрава, кое-где с высоченными елями. Из дубравы выбежал босой мальчишка, белоголовый и растрепанный, он оборачивался и призывно махал кому-то шапкой. И оборвалось видение. Как я ни приседал, ни жмурился, напрасно. Конец, зашло солнце.

Зато начался триумф мечтаний. Мне нестерпимо хотелось немедленно знать: как, за счет чего, почему, где сохранились и как записаны эти события, прошлое или фантазия, способ воспроизведения и при чем здесь закат. Он лишь хмыкал и бурчал о костылях, машинах, врагах природы, о ее претензиях к нам, о нашей непреложной обязанности осознать себя частью природы не только теоретически, а практически спаяться с ней всеми клетками. Мы же вместо слияния сторонимся обычно и привычно. Он торжествовал, что бы там я ни говорил, он показал мне телевидение без приборов. Просто, как воздух, как ручей.

Как воздух, который безвозвратно сжигают грязные фыркалки, как ручьи, которые загнаивают и ядовитят каракатицы грубости. Говорил он уже с таким накатом и остервенением. Будто это я всем машинам и хозяин, и слуга, и даже раб, а он — нет, он — в стороне, не прикладывал своих беленьких рук к немыслимому безобразию. Мы с ним и раньше-то всегда спорили с неизбежным переходом на личности, тут же я буквально запылился, да еще, иначе не скажешь, зафистулил. Да, да, необходимо хладнокровно оценивать свои действия, или взвизгнул, словно меня обожгло. Станешь восстанавливать по порядку прошедшее — сознаешь: стыдно уж так срываться, во время же спора не находишь другого способа. «В наших с тобой спорах захлебывается истина», — придумал он и про любые споры утверждал, что если в них и рождается истина, то лишь мертвая. А тогда навизжал я про фотографию, он взял и порвал ее. Ключки сжег и пепел сдунул на грядки.

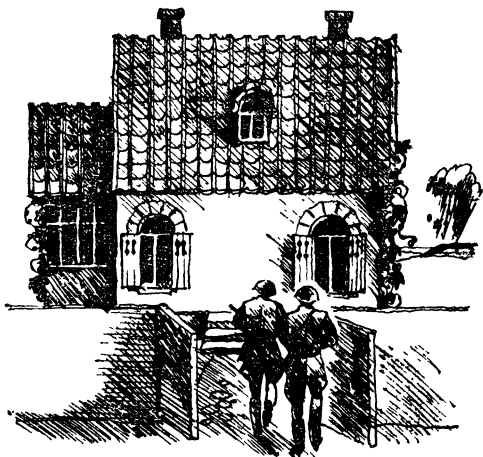
Мы уснули почти в смертельной ссоре. Нас разбудила гроза. Мы снова говорили. Он еще не предполагал, что гроза безнадежно нарушит условия адаптации, так, по его терминологии, называлось то, что делало возможным телевизионные передачи с борзыми и рыжей красавицей непосредственно из природы. Объяснений, понятных для меня, я тогда не получил, но может стать, что в запальчивости и не хотел понимать, вслушиваться в его слова. Повторяю, ночью он не предполагал, что установившийся у него контакт с природой по прямому проводу... Нет, лучше не иронизировать. Смысл его устремлений исключал любые технические средства — какие уж там провода. Контакт, включая обратную связь, был: природа — я, потому что я — природа. Внутри себя. В грозу говорилось, что такой контакт с природой, обратная связь, доступней всего, когда данный мыслящий организм изолирован от других мыслящих организмов. Один человек — одна природа. Друг против

друга. Потом он внезапно вскочил и сказал: такую изоляцию можно создать довольно просто. Повторил: довольно просто. И закатил глаза своим способом. Я же, словно подстегнуло меня что-то, придрался к словам, назвал его идеи экзистенциалистскими, дзен-буддизмом. Он отрицал, я продолжал умничать.

Я уверен — ночью, в грозу, он и сам не собирался ничего предпринимать, но, вот когда обнаружил, что природа выключила свой «телевизор», мог пойти на все.

Исчез он. Нет его нигде, где он бы мог быть, бывать. Уж поверьте, раз он решил изолироваться от всех других мыслящих организмов, да еще его осенило это довольно просто с закатыванием глаз, его не найдешь, не докопаешься, пока не объявится сам.

А если не объявится? Хоть бы нашелся негатив того снимка. И ведь валяется у кого-нибудь. Псовая охота с борзыми. Всадники на лошадях и момент, когда собака как бы косится в объектив.



СРЕДНЕВЕКОВАЯ РУКОПИСЬ, ИЛИ ТРИДЦАТЫЙ РАССКАЗ

Долго мне не удавалось, сколько я ни писал рассказов, насчитать их тридцать. То тот, то этот казался слабым: я вычеркивал заголовки один за другим, и в списке всегда оставалось меньше тридцати. Наконец с большим трудом набрал их двадцать девять, и, чтобы не затягивать дальше своего испытания, я решил во что бы то ни стало тут же написать тридцатый рассказ.

Вспомнилось: на фронте мы умели выйти из всякого положения, использовать любое обстоятельство, извлечь пользу из самых мелких и, казалось бы, не относящихся к делу фактов. Я остановился на первом попавшемся образце и начал так:

В воздухе пахнет весной, победой и мелинитом. Весной оттого, что апрель; победой оттого, что сорок пятый

год; мелинитом оттого, что мы сидим с полковым переводчиком на обломках взорванного моста.

Рядом с нами шоссе, дальше по берегу — одинокий домик под черепичной крышей. Внизу дивизионные саперы устраивают переправу, а мы с переводчиком пришиваем чистые подворотнички.

Я никогда не умел, как переводчик, сложить белый лоскуток и, придерживая кончик зубами, ловко продерябнуть из-под низа иголкой, отчего лоскуток сразу становился образцовым воротничком. Я натягивал лоскуток на полоску плотной бумаги и пришивал вместе с бумагой, только тогда у меня получалось не хуже, чем у переводчика. Зато мне приходилось добывать подходящую бумагу.

Я вылез на шоссе и принялся исследовать придорожные кюветы.

Кто воевал последний месяц, помнит, как фашисты, стремясь попасть в плен к американцам, бежали от нас, бросая все тут же, у дороги.

Чего только не было в кюветах! Велосипеды и фляжки, плащ-палатки и пистолеты, дамское белье и противогазы, детские туфельки и снаряды, кинжалы и консервы, брюки и пулеметы, коньки и чемоданы. Все это валялось перемешанное, скомканное, истоптанное.

Сверток пожелтевшей рукописи торчал между головастым фаустпатроном и плоским винным бочонком. Бумага подходила. Я взял несколько листов и, ободрав по дороге помятое и грязное, уселся налаживать подворотничок.

Переводчик уже надел гимнастерку. Подтягивая подбородок, он любовался, глядя в зеркальце, воротом. Неожиданно его рука потянулась к бумаге. Он поднял мои листы и даже потребовал кусок, который я приготовился зашивать в тряпочку. А потом мы читали вместе: он читал и переводил, а я слушал.

«...Крепок шлем и латы герцога Брюнхгальского! Не-

счастнѣй хундшпильман (мне помнится, в рукописи было именно хундшпильман, хотя переводчик утверждает, что такого слова нет), старейшій хундшпильман всех псарен под короной, сообщившій герцогу о случившемся, не вернулся из дворца. Благость господня и милость пресвятой девы осенят род герцога! Да не проржавеет щит, да не притупится меч его. Да не сотрется девиз герцога с ворот нашего города. Пусть усталый путник так же легко прочтет позлащенные слова, как читаю их теперь я на последнем году властвования герцога. Только его сила и святость помогли нам пережить те бесовские времена, когда ни одни латы не могли защитить нас от темных сил. В роковой день двери герцогской опочивальни не отворились перед молодоженами. С этого начались события, свидетелем которых был я, Фридрих фон Цуель. По совету моего духовника отца Клампеля записываю все, как помню...»

Следующего листа не было, а на моем кусочке переводчик прочел всего несколько слов:

«...У дверей герцогской опочивальни издохла его щенная сука...»

Зато дальше шло подряд:

«...поголубели воды Эрлихинского озера, виноградари прибрали опустевшие давяльни, и по утрам всякая тварь божья с тревогой ощущала дыхание близкой стужи. Многие, отходя ко сну, вместо молитв шептали о дьявольских желаніях. С чародейской хитростью вовлекала нас в грех та, в честь которой мы наперебой слагали сонеты и пели баллады. Мы пьянели, как только успевали вдохнуть воздух ее гостиной, ловили малейшее ее желаніе и сразу бросались исполнять его. Каждый вечер вспыхивали ссоры, примирить которые могла только кровь за дверями ее дома. Я сам приглашал двоих, а меня вызывали на дуэль трижды.

В последнюю ночь она снова приняла нас в гостиной, задрапированной странными тканями. В мерцающем све-

те свечей казалось, что узоры на тканях живут — птицы вздрагивали, гады шевелили щупальцами. Откинув голову на спинку кресла, будто для поцелуя, она нежно сказала:

— Сегодня я хочу лишить вас жизни. Сейчас еще можно уйти. Но если я начну, будет поздно.

Ее улыбка туманила наши головы. Никто не двинулся с места.

Тогда она начала рассказывать.

Слушая ее и любуясь ею, мы не замечали, как меркли свечи, как приближались к нам стены, украшенные странными тканями, как исчезали двери.

— Юноши вскочили, — сказала дама, — и бросились к дверям, но стены надвигались, и двери исчезли».

Мы с ужасом осмотрелись. Так и было: стены надвигались. Мы вскочили и бросились к дверям. Двери исчезли...

Дрогнула земля, засвистели, падая, мины, и мы с переводчиком, кинув рукопись, прыгнули в укрытие. Мины рвались совсем рядом. Потом разрывы сдвинулись к переправе и, как будто нащупав, стали точно долбить по неоконченному понтонному мосту.

— Какая-то сволочь корректирует! — выругался, слезая в укрытие, молодой сапер. — Только бы узнать, где сидит фашистский потрох! — И опять выругался.

Переводчик ткнул меня в бок кулаком, показал на одинокий домик:

— Дверь-то исчезла! — и потащил меня из укрытия.

Мы быстро перебежали шоссе, перепрыгнули каменную ограду и, прячась за ней, подобрались к домику, увитому до самой крыши плющом.

Переводчик расстегнул кобур и, показав пальцем, что нужно молчать, скользнул в дом.

Войдя в кухню, он кивнул на стену, оклеенную обоями, и на ступеньку и порог, неизвестно зачем приделанные к этой стене, и шепнул опять:

— Дверь-то исчезла!

Мы тихо отодрали обои, ножом открыли тонкую дверь, запертую изнутри на крючок, и с пистолетом наготове стали взбираться по узкой лестнице на чердак.

Переводчик лез впереди. Он первый протиснулся в отверстие на потолке. Теперь я видел только его ноги. Вдруг ноги так напряглись, что я вздрогнул.

— Хенде хох! — рявкнул наверху голос переводчика, и ноги мгновенно перемахнули через край отверстия.

Я увидел уже развязку. Переводчик отдавал по-немецки распоряжения, а лопоухий молоденький коррективщик послушно стучал телеграфным ключом.

В щель между черепицами было видно, как разрывы переместились в сторону, потом мины стали падать в реку метров на двести выше понтонов. Саперы закопошились, потащили прогоны, консоли, настил... а переводчик все корректировал.

Я дружу с переводчиком и сейчас. Он преподает в институте историю и советует изменить кое-что в этом моем рассказе.

— Во-первых, — говорит, — корректировщик вовсе не лопоухий, а физик Курт Вайбель. Я его видел. Как-то наш институт посетили немецкие ученые. Мы с ним сразу узнали друг друга и разговорились. Во-вторых, выбрось все насчет странной рукописи. Я, — говорит, — еще тогда понял, что она не исторический документ, а вымысел.

Но неизвестно, кем бы стал Курт Вайбель, если бы не этот вымысел. Я ничего выбрасывать не стал и сохранил все, как было.



ГДЕ-ТО В СИБИРИ, В АРХИВНЫХ ПАПКАХ

Все-таки я расскажу, а, Марылька? Марыльку смущает, что нужно рассказывать, как нам рассказывал один — у него была татуировка, — что ему рассказал тот другой. Рассказал перед селекцией на газ...

Нам тогда с Марылькой з́араз столько привалило чудес, так еще могли принять хоть одно, хоть сто. Едва кончилась война. Я не знал, где Марылька. Она — где я. Но мы тут же встретились и приехали к морю. Мы розовели издали, как пряники. Возможно, поэтому он и выбрал нас, возможно, он рассказывал и не только нам. У него была татуировка. На руке — между локтем и запястьем, посередине. Цифры выведены, как на чертеже, пять цифр и еще буквы — так в реестрах заносят номера вещей, книг, деталей. А это его лагерный номер.

Газовая камера тоже как удостоверение для нас с

Марылькой, а вам, чтобы могли понять, почему мы поверили, почему слушали, почему, наконец, он рассказывал, что рассказал ему тот, который не надеялся, что пройдет селекцию, и не прошел, не избежал газовой камеры. Тот был из Сибири, вот почему мне особенно хочется, чтобы вы знали. Правда, Марылька?

Благо... Бого... Нет, нет, только не Благовещенск. Из Благовещенска поступили связки архивных папок... Но я забегая, папки участвуют потом. Тот имел отношение к архивам, которые постепенно сортировали, приводили в порядок. Стопятидесятилетние или двухсотлетние архивы губернских управ. Часть их попала в Бого... Бодо... Что? Тобо... Ах, Тобольск. Слышишь, Марылька? Тобольск! Нет, непохоже. Нет.

Середина двадцатых годов в Сибири. Вы лучше меня представляете. Но тот занимался только архивами. Уполномоченный или комиссар, потому что к тому... (Мне удобнее, чтобы не запутаться и не запутать вас, говорить тот, тому, а не он, ему, чтобы не спутать того с другими. И это мы с Марылькой придумали, что тот комиссар или уполномоченный.) К тому привозили архивы, требовали расписок, предъявляли мандаты. А однажды к тому пришел посетитель, когда тот уже давно зажег коптилку и разбирался в бумагах при ее свете. Пришел и встал у лавки, заваленной пачками бумаг. Тот поднял голову, подождал, что скажет посетитель, не дождался и стал опять разбираться в папках, и даже забыл о нем, и тут же вздрогнул. Опять посмотрел на посетителя, и посетитель смотрел на комиссара, на того, который попал потом в газовую камеру.

Тогда время очень ценилось, или считалось хорошим тоном беречь время; кончил дело — уходи, а тут еще и не начиналось — и не дело, а разговор хотя бы. Уполномоченный, я больше склоняюсь, что тот не был комиссаром, комиссары все-таки решительнее и вооружены, а у того не было оружия, уполномоченный сказал:

— А ну, давайте покороче, что нужно?

Посетитель кивнул и сказал:

— Мне шестьсот лет.

Вот тогда-то тот и пожалел, что нет оружия. С оружием бы тот сразу доставил посетителя куда нужно. А я думаю, что комиссар доставил бы и без оружия, вот еще почему я считаю, что тот не комиссар, а уполномоченный.

— Бузить пришли? — насупился уполномоченный.

— Хм. Бузить. Буза. Это выражение скоро исчезнет, забудут его. А слово дактилоскопия вам уже известно или оно еще не вошло в обиход?

Посетитель говорил тихо. Уполномоченный хотел и не решался разглядеть его.

— Определение личности, что ли, по отпечаткам пальцев? — Тот даже не ждал от себя, что вспомнит, и обрадовался, и забыл, что лучше всего доставить бы посетителя куда следует, и не стал больше жалеть об оружии, а взглянул в глаза посетителю, и хоть от копилки и не хватало света — разглядел и понял уполномоченный, что посетитель умен, что ничего он не побоится, даже оружия, но и что его ни к чему бояться тоже.

— Оpozнание, — подтвердил посетитель. — По отпечаткам подушечек пальцев человека легче опознать, чем по лицу, которое можно изменить гримом или пластической операцией. Но вы еще не знаете, почему рисунки никогда не повторяются, и нет на свете двух человек с одинаковыми узорами на подушечках пальцев, и вряд ли узнаете в течение этого столетия.

— Кто я? Я?

— Вы тоже, все люди.

«А вы?» — хотел спросить уполномоченный, но вспомнил, как в железнодорожном отделении ЧК попался один: тоже умно говорил, и стал опять думать, что нужно бы доставить посетителя, или лучше ушел бы он сам.

Мало ли: вот говорили, что если не доставишь — тебя доставят.

Конечно, тот не был комиссаром, согласись, Марылька, комиссар бы не трусил, не рассуждал как обыватель.

— Вы не беспокойтесь, я по делу, — посетитель как будто угадал сомнения уполномоченного, — дактилоскопия тоже относится к делу, как и то, что мне шестьсот лет.

Уполномоченный поежился оттого, что хотел не верить, а само собой верилось, верилось и в дело, и в шестьсот лет.

Уполномоченный видел перед собой и слушал человека, который заслуживал доверия. Не было в нем ничего такого, к чему можно бы было придаться или бы вызывало раздражение. Открытость, готовность быть полезным, понятным и к тому же терпеливость и бесстрашие — при всем желании уполномоченный не мог отплатить такой же естественностью, и корбило уполномоченного до сухости в глотке, до щипоты в глазах. Можно так говорить или лучше «до щипания»?

— Конкретно будете излагать? — спросил уполномоченный, сознавая, что опять получается грубо, неуместно официально и с угрозой.

Посетитель с готовностью придвинулся к столу, выбрал листок бумаги, чистый с обеих сторон, и, потерев большими пальцами подушечку для штампов и печатей, притиснул их затем к этому листку.

— Вот, пожалуйста, конкретно, — несколько любясь даже сделанными оттисками, улыбнулся он уполномоченному.

Тот... Тому... У того сразу воскресли все подозрения, и особенно насчет психической ненормальности посетителя, и снова уполномоченный избегал смотреть на него, и чем дальше, тем больше росла натяжка, нелов-

кость. Потому что чем дальше, тем подробнее посетитель объяснял свое дело.

— Среди папок, которые вы разбираете, вам должна попасться связка бумаг из Благовещенска. Связка с сургучной печатью. Указана дата, когда связка была опечатана и сдана в архив: сентября 23-го дня, 1852 года. Бумаги незначительные, совершенно незначительные, — подчеркнул посетитель, заметив нарастающее беспокойство уполномоченного.

Тот со страхом ожидал: сейчас потребует или попросит эти бумаги? Что, если скажет: дай на память? Смогу я отказать или не смогу?

— ... наделов трех казацких старшин, — продолжал посетитель перечисление, начало которого уполномоченный упустил, — опись собранной пушнины от бурят в качестве подушного налога за семь лет и еще что-то в таком же роде. Они нас не интересуют. Попадется вам, кроме того, в этой связке пакет, опечатанный по четырем углам. Прежде чем сломать печати, обратите внимание на сохранность сургуча.

— Ну уж, как хочешь, сургуч не сургуч, а пакета я те не отдам, — внутренне укрепился уполномоченный, — заливай, заливай, да держись за край.

— Это важно для вас, чтобы вы поверили, а затем и подтвердили своей подписью.

— Ух ты, роспись! — оледенел изнутри уполномоченный: вдруг он, этот посетитель, и есть оттуда, откуда надо?

— Не пугайтесь, слушайте. Пакет я сам доставил из Петербурга в Сибирь, а прежде он долго лежал, очень долго. В нем, вы это увидите, примерно такой же листок с оттисками пальцев, моих больших пальцев, с указанием даты и подписью чиновника, поставившего ее. Какую очередную архивную папку вы готовите на бессрочное хранение?

— Шестьдесят два дробь восемнадцать эф, — отра-

портовал уполномоченный и затосковал: «Что же я тайны выдаю!»

Посетитель на мгновение прикрыл глаза.

«Так и есть, запоминает», — догадался уполномоченный»,

— Вот туда вы и положите оба листка, а на сегодняшнем поставите дату и свою подпись. Лучше, если найдется конверт.

Уполномоченный оторопел, спину холодила струйка пота, которая вдруг побежала от лопаток к пояснице. Вот так волдырь! На бессрочное хранение, да еще с росписью! А тут и посетитель собрался уходить — встал, надел шапку и уж направился к двери мимо уполномоченного. Тот вскочил и загородил дорогу.

Они стояли так, не глядя друг на друга, а по потолку и стенам шатались их тени — пламя в коптилке то ложилось, то взметывалось, чуть ли не отрываясь от фитилька.

— Вам не следует требовать объяснения. Сделайте и забудьте.

И хотя слова посетителя совершенно убедили уполномоченного, тот не двинулся с места. Тело уполномоченного не подчинилось сознанию. Посетитель удивился и прикрыл глаза, опять будто бы припоминая или подсчитывая.

— Понимаю, понимаю, — он говорил как будто с самим собой и у себя же спросил: — Но ведь не спасет? — а ответил уполномоченному: — Вас это не спасет, лишь однажды вам это поможет. Знайте. История человечества складывается так, что мое вмешательство окажется необходимым раньше, чем рассчитано. Тогда я покажу оттиски пальцев отсюда, другие документы из других мест. Может быть, мне поверят, согласятся и человечество избежит катастрофы. Пропустите меня.

Уполномоченный дал ему уйти, только тень уполномоченного рванулась к дверям, отпрыгнула от них на потолок, а потом, будто успокаиваясь, закачалась от сте-

ны к стене и вдруг остановилась в углу, где лежала груда связок. На одной из них значилось: сентября 23-го дня 1852 года.

... Сургучные печати на конверте были целы, тот тщательно осмотрел и не сломал печати, а разрезал конверт. На листке с выцветшими от времени оттисками пальцев, еще более тусклая, стояла дата и подпись с окружающим ее росчерком... Среда февраля четвертого дня 1704 года. Оттиски пальцев совпадали и по размеру, и по рисунку, и по числу линий. Тот накладывал листки и сличал на просвет.

Сбылось и предсказание вечернего посетителя, помните: не спасет, но однажды поможет? И помогло, помогло тому до конца сохранить мужество. Тот так сам сказал, когда кончил рассказывать. Не нам, а ему, который рассказывал нам после войны. Видите, обязательно путается, и Марыльке кажется, что мы выглядим навязчивыми болтунами. Ведь мы даже не помним, как назывался город. Бого... Вого... Нет. Нет, и не Тобольск. Как ты считаешь, Марылька? Видите: нет, не Тобольск.



ВРЕМЯ ЗАЖИГАТЬ ФОНАРИ

Тропинка сквозь высокую траву. Узкая. Каждая травка пахнет. А сбоку река. Так вспоминалось. Особенно Большой Лес — крохотная рощица на берегу реки. Густо растут тополя и черемуха. И не пройдешь между ними: лопухи, и крапива, и сумрак.

Большой Лес. Чуть-чуть выглядывает из-за деревьев застекленная башенка. Дом бакенщика возглавляет рожицу.

А внизу под обрывом песок, лодки с тяжелыми веслами и сухие бакены — красные и белые — запасные.

Мне всегда хотелось поговорить с бакенщиком, чтобы он рассказал мне свою главную историю.

Но я был мал, а у бакенщика были свои дети. Осталось невыполненным желание.

Я очень четко представлял, как оно могло выполняться. Каким-то образом я знакомлюсь с ним. Почему-то очень ему нравлюсь. И он, конечно, берет меня на лодку — грести.

Мы едем зажигать фонари на бакенах. Бакенщик удивляется — оказывается, я очень хорошо гребу. Вот мы зажгли последний фонарь Красный. Уже потемки. От теплой воды поднимается холодный пар. Глуше скрипят уключины.

Я слушаю главную историю. Она проста. Совсем короткая история. Но в ней все.

Так думалось и хотелось. И чем дальше отходило детство, чем смешнее становились те выдумки, тем больше хотелось побывать в Большом Лесу...

Возможно, стерлось бы все это в памяти. Но как-то во время войны нас перебрасывали пароходом. Хлопот у меня было много, да и не привык я эти места с воды видеть.

Берег весь в дырках — гнезда береговушек. Лесок... А над деревьями вдруг башенка. Сердце чуть приостановилось и запрыгало.

А на песке у лодок сам бакенщик. Возится с сетью. Не обращает внимания. Близко проплывает берег. Потом бакенщик повел бородой и поглядел равнодушно. А меня увидел, встал, заулыбался и рукой машет.

Я оторопел. Совсем мальчишкой стал и шепчу:

— Здравствуйте, — и рукой машу. А неудобно.

— Солдат приветствует. Душевный старик! — сказали сзади.

Я оглянулся. Весь мой взвод навалился на перила и в ответ улыбался и махал бакенщику. Только тогда я заметил, что бакенщик вовсе не на меня и смотрит. И я растрогался. Пошел на корму к старшине, показал на бакенщика и сказал:

— А я с ним на лодке ездил фонари на бакенах зажигать. В детстве.

И мы со старшиной смотрели на бакенщика и махали ему, пока его не закрыло поворотом.

А совсем недавно побывал я в Большом Лесу. Решил специально ехать. Конечно, не из-за «главной истории». Эта детская выдумка выветрилась. Просто посмотреть знакомые места. Удастся — так познакомлюсь. Расскажет, так расскажет.

Все решено правильно. А волнуясь. За полтора часа до отхода поезда на платформу прибыл. Расхаживаю. Кроме меня, двое каких-то было. Я еще подумал: «Братья — похожи очень». У одного лауреатский значок.

Они в один со мной вагон сели. Я, как маленький, прилип к окошку. А день — такого яркого никогда не бывало.

Эти двое тоже на моей станции сошли. Обогнали меня и пошли по направлению к Большому Лесу.

Я приотстал, сел, разулся. И по тропинке босиком. Она твердая, сухая, немного желобком и в трещинках. Трава высокая. Цветет и сыплет пыльцу. Чуть ветерком потягивает. А в лугах подмареннику много, ветерок будто духами пропитан.

Иду босиком. Те, впереди, скрылись. Сзади никого. Я вприпрыжку. Лягаю пятками воздух. Самому над собой смешно. А сбоку река.

На той стороне каемка песка, а потом кусты. Подошел я к обрыву. Высоко. У самого берега рыбы. Спинки узкие, плавники и хвосты черные. Комочек сорвался, плюхнулся. Мотнули хвостами — и вглубь. А мне весело. Распирает. И от этого дерзко опять «главная история» вспоминается.

Так и поет внутри: «Узнаю, узнаю». А с другой стороны постукивает недоверчиво, но тише: «Ну и дурак! Ну и дурак!»

А время подходящее. Скоро фонари на бакенах зажигать нужно.

Надел ботинки и ходу. Уж башенка над деревьями показалась. Вильнет тропинка, и все... А получилось неожиданно, как тогда на пароходе.

Песок, лодки... И те двое... Братья... И бакенщик. Одного бакенщик держит за плечи. Другой, с лауреатским значком, немного в сторонке. Потом его взял бакенщик. Поцеловал. Посмотрел. Отпустил.

— Молодцы! Молодцы!

Мне хорошо слышно сверху.

— Ступайте в дом, а я фонари зажгу.

Вскочил в лодку и весело заскрипел уключинами.

Я стоял и следил за лодкой.

— Когда мы поженились, я каждый вечер смотрела, как он фонари зажигает, — донеслось с крыльца. — Уж очень руки у него ловкие.

Сыновья и мать спускались к реке — встречать бакенщика.

— Ночью сколько раз вставала, щупала у него в кармане, берет ли он с собой спички. Все думала — просто так, от рук его, фонари загораются.

Они засмеялись тихо и гордо. Один за другим загорались фонари на бакенах. Подъедет лодка к бакену, только протянет руку бакенщик — вспыхивает фонарь.

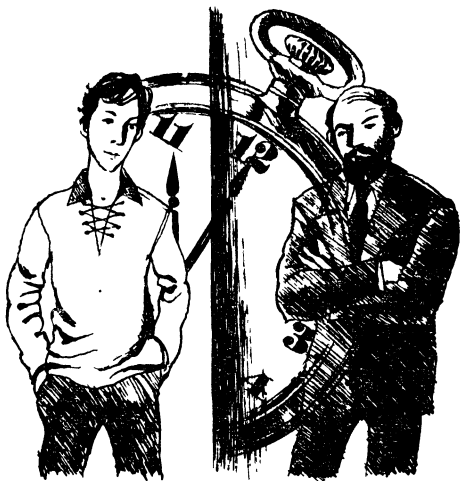
Засветился фонарь на последнем, самом дальнем бакене. Красный. Наступили потемки. От воды поднимался пар. Уключины скрипели глуше.

Мне шагалось легко. Еще сильнее пахла трава. Бо-ролись две мысли, первая тихо постукивала:

— Может, он спички для отвода глаз берет.

А вторая так и пела с каждым шагом:

— Ну и дурак! Ну и дурак!



ВСТРЕЧА В ПАНСИОНАТЕ

— Тебе бы бороду и лысину... — сказал вдруг Игорь, приглядываясь ко мне. Сказал всерьез, как будто увидел меня впервые.

Мы учились с ним тогда в восьмом классе, а дружили с седьмого. При чем тут борода? Но это не был розыгрыш. Игорь несколько дней помалкивал, задумывался и даже не передавал исподтишка по рядам своих рисуночков. На них был обычно нарисован я за рулем в автомобиле, а рядом со мной какая-нибудь наша одноклассница. Я не мечтал об автомобилях, о них мечтал сам Игорь. Но одноклассницу он выбирал именно ту, на которую я заглядывался сегодня. Так коварно он пользовался моим доверием. Я же, стоило мне изменить свою привязанность, немедленно делился с Игорем, и вскоре

по классу переползал под партами из рук в руки очередной его рисуночек, рядом со мной в автомобиле уже сидела она, сегодняшняя. Порой мое непостоянство приводило к тому, что Игорь изготавливал за неделю несколько рисуночков или, когда рисуночек возвращался к нему, менял подпись под девушкой, стирал фамилию Брусникина и надписывал Лапкина. На рисуночке же не менял ничего, все они были точными копиями. Как-то Игорь срисовал понравившийся ему сюжет — парень и девушка за ветровым стеклом автомобиля — из иностранного журнала и выполнял его потом все быстрее и быстрее. Под парнем иногда он ставил фамилии других ребят, те стирали свои и вписывали соседей. Девчата же, хоть и смущались, краснели, но никогда не отказывались от места в автомобиле.

Странно, что вся эта автомобильная лихорадка разыгрывалась в нашем классе задолго до тех времен, когда о личном автомобиле стали думать реально, — в тридцатых годах. Из-за Игоря. Похоже, что он знал не только о моих лысине и бороде, но и о многом другом, что будет. Признался Игорь мне, как я теперь понимаю, далеко не во всем с ним случившемся в том странном однодневном доме отдыха.

Естественно, что, услышав его загадочные слова о лысине и бороде, я не отставал от него до тех пор, пока он не взял с меня клятву держать все в тайне. Я поклялся, предвкушая, как при первом же удобном случае выдам Игорев секрет и отплачу ему за рисуночки.

Но надежды мои не оправдались, разглашать получалось нечего, вернее, слишком сложно для меня и для наших сверстников, чтобы перевести это в розыгрыш или в тот же летучий рисуночек. В доме отдыха, куда Игорь попал по путевке, встретил он мужика — точь-в-точь я, только лет на тридцать старше, с бородой и лысиной. Мужик все приглядывался к нему, Игорю, словно хотел вступить в разговор, и будто и мужик и Игорь по-

чувствовали одновременно, что нельзя им разговаривать друг с другом, почему-то невозможно, может быть, опасно. Мужик потом лишь издали присматривался к Игорю. Он не был однодневником, потому что вечером не сел в автобус, который увозил Игоря.

Про путёвку Игорь рассказывал так, что выходило, либо он и сам не знал, откуда она оказалась у него, либо недоговаривал. Возможно, что до меня не все доходило или не могло дойти, или не запомнилось. Особенно Игорь удивился, что дом отдыха был весь из стекла и алюминия, а тогда только одно такое здание стояло в Москве — Наркомлегпром на улице Кирова. А уж об автомобилях я наслушался больше всего. Игорь рассказывал, что на автомобилях приезжали в дом отдыха многие, по двое, по трое — семьями и по одному. Оставляли автомобили на асфальтированной площадке и уходили все вместе, а не так, как было принято, чтобы шофер оставался за рулем. Словом, любимый Игорев сюжет — мечта наяву. Семейный автомобиль. Автомобиль для парня с девушкой — были там и такие пары. Когда же я спросил его о марках автомобилей, он, знаток и любитель, чем славился в классе, не ответил и, мне показалось, не ждал такого вопроса.

Может быть, Игорь не хотел ничего утаивать, а сам еще не разобрался в увиденном. Со временем в повторных разговорах наверняка я узнал бы и понял больше. Но в те дни мы всем классом проходили комиссию спецнабора в военные авиационные училища. Кто засыпался по медицинской, кто по мандатной части. Прошел один Игорь.

Прислал мне свою фотографию в матросской форме — попал он в морскую авиацию. Школьник и летчик... Какая уж переписка — заглохла вскоре. Осталась недосказанность. Потом забылась накрепко — хватало и без школьных историй материала для размышлений, для переживаний.

Через тридцать лет, когда я вспомнил эту недосказанность, у меня были и лысина, и для поддержания среднего коэффициента зарастания борода. Вспомнил не сразу, не в нужный момент, а спустя некоторое время. Но не исключено, пожалуй, что в нужный момент воспоминание оказалось бы совсем не к месту и могло вызвать несчастье. Хотя думается мне, я все равно не преодолел бы возникший барьер, не решился, не хватило бы сил, может быть.

Отдыхали мы тогда с женой в пансионате, недавно выстроенной стекляшке на берегу водохранилища вблизи Чиверевского залива. Прошло уже полсрока. Мы катались на лыжах, чуть не каждый вечер ходили в кино, а я успевал еще между этими занятиями сыграть на бильярде и в пинг-понг. Однажды в вестибюле пансионата, когда мы шли из столовой с завтрака, я увидел Игоря.

Конечно, я сразу же стал себя разубеждать, что это случайно похожий на моего школьного приятеля парень, в крайнем случае родственник, сын наконец. И если даже сын, что мне до этого? Нет, я не вспомнил ничего ни в первый момент, ни в течение всего дня, когда он то и дело попадался мне на глаза. Вспомнил через час позже завершающей встречи с ним — мы возвращались из леса на лыжах, а он промелькнул в окне автобуса, увозящего на станцию однодневных отдыхающих.

После того как я вспомнил, мне не удастся думать о том дне так туманно. Туман, сомнения соскочили. Я не могу снова уверять себя, что встретил не Игоря. Не говоря уже о полном сходстве лица, фигуры (я нашел дома фотографии), совпадала одежда. Хотя и сейчас можно встретить похоже одетого демобилизованного моряка — бушлат, под ним ковбойка и расклешенные брюки. Но Игорь-то носил перешитый бушлат старшего брата и выглядел в свои семнадцать, конечно, мо-

ложе нынешнего демобилизованного моряка. Стрижка — полька; разве в моде сейчас стриженные затылки? А самое главное — он удивлялся при каждой встрече не меньше меня и задумывался. Когда же я решился наконец подойти к нему и спросить, не Сладков ли он по фамилии, не родственник ли Игоря Сладкова, мы оба наскочили на барьер. Я отчетливо почувствовал, что не могу, что и не надо, что нельзя подходить ближе. Растерялись мы оба с неловкими выкрутасами и страхом. Кроме того, я наблюдал, с каким недоумением и интересом он рассматривал сквозь стеклянную стенку вестибюля подкатывающие к пансионату «Жигули» и их владельцев.

Почему я не вспомнил про лысину и бороду на несколько часов раньше? Или барьер стоял и в памяти?

Я чувствую, как он поднимается каждый раз, когда я в связи с этой историей стараюсь логически осмыслить возможность завихрений и петель во временном потоке, и у меня возникает ощущение, что не успеваю всего лишь на долю мгновения, чтобы заглянуть за него.



РАЗГОВОР С ГЛАЗУ НА ГЛАЗ

Нечего и читать — сплошь идиотизм. Идиотизм слов: ...подозрительное масляное пятно на поверхности воды... Ведутся дальнейшие поиски...

Кобели. Подозрительное... дальнейшие... Пустила их субмарина пузыри из маслопроводов, вот и пятно на поверхности. Какие же еще дальнейшие? Когда субмарины пускают пузыри из маслопроводов? Тогда, псина, пускают пузыри, когда лопнут трубы, треснут переборки, обшивка и вода резанет во все отсеки. Взрыв. Понял, морда, взрыв. Это я говорю. И я все докажу, покажу, разложу, разжую, но не развожу. Не разбавляю, раньше разбавлял, а теперь пью, не разбавляя.

Можешь ты, псина, ответить на вопрос вопросов: почему? Почему пьет человек? Не можешь. А раз человек пьет неизвестно почему, стоит ли ему разбавлять, стоит ли с доходами от спиртного поднимать и доходы от воды? Ведь именно вода врзается, как мы уже с тобой говорили, врзается в отсеки, когда происходит взрыв.

Мы все разберем, морда, расшифруем, размножим, размажем, разбудим. Хотя нет. Стоп. Полный назад. Всплытие! Пусть спят невежды. Невежды пусть не отворяют вежды. Утопленники тоже. Много утопленников, вся команда.

Смотрю я тебе в глаза, псина, ну чему ты рад? Хочешь, скажу одно слово, и ты рассвирепеешь, как тот полисмен, что всю смену простаивает на полосе посередине шоссе, а мимо провизгивают, прошарахивают и прованивают, главное, прованивают автомобили. Он всю смену вдыхает эту вонь, газ. Он знает, что сдохнет от газа. Но ему нужно стоять, вот он и свирепеет. Он, может быть, прав, что свирепеет. Ты же приходишь в ярость от одного слова, морда. Я не понимаю, почему ты их так не любишь. Они что надо, получше многих. Не ломайся, догадываешься, о ком я? Сказать? О дельфинах. Слышал: дельфины!

Ага! Ха! Ха! Эх ты, зверь. Ну, ну. Цыц! Цыц, подлец! Нет их, смотри, нет здесь. Спокойно, спокойно. Кошмар, да и только. Вдруг ты чуешь вот это самое с утопленниками. И с самого начала чуял и насчет взрывов, разрывов, нарывов, перерывов. Просто все ваше собачье племя чует, знает. Молчишь? Правильно, я тоже буду молчать. Мы только с тобой и догадываемся. Два человека. Потому что по глазам ты еще лучше, чем человек. Вдруг ты слышишь, что мы не слышим. А, морда? Какие-нибудь ультразвуки. Или ты разбираешься в свистах, понимаешь по-дельфиньему? И они так прямо и отмачивали тебе всю правду. Тебе — все, мне — поло-

вину, а профессору с полковниками — каплю. Кап-кап! И не собираюсь разбавлять, и не скули. Глоток за моего друга дельфина Тодди-джи! Тихо, тихо. Он далеко. Цыц! Нет его здесь!

Тодди-джи мне сказал, а профессору с полковниками нет. Нет. Возможно, манежно... помнишь, как Тодди ухватил эту привычку размножать идиотизм слов... непреложно, трикотажно. Возможно, морда, тебе он выложил больше. Многоэтажно, малолитражно. Может, ты от этого и надрываешься. Но не расскажешь, не дано тебе голоса. Мне же не поверят, если услышат. Услышат, на крыше, на вышке, култышки.

Представь себе, тот полисмен нашел выход: орет посреди шоссе скабрёзности, богохульствует, проклинает, дерзит, мерзит всем леди и джентльменам, провизгивающим, прошарахивающим, прованивающим по шоссе. Они хоть не слышат, а тоже нашли выход: говорят, что на дороге номер та-та дробь та стоит полисмен-миляга, полисмен-симпатяга, улыбяга, га, га!

А я кто? Бывший-то сторож из океанариума, моряк-то на пенсии? У меня пара рук-закорюк да мозги на нас, морда, на двоих. У профессора же с полковниками всякие фоны, разные скопы, продукты, репродукторы. Разве за ними слышно? Сверх всего девы в шортиках, девы в бермудиках. Девы-лабораны, девы-секретаны. Разве за ними видно? Ходят, извиваются, вихляются, вроде как ты, морда, если радуешься. Но ты от дурости, от ясности, от безгласности. Ну а они отчего крутят бермудиками, шортиками, бикинчиками, гавайчиками (нужное подчеркнуть)?

К порядку, господа, к порядку — это я вполголоса и, как профессор, делаю ручкой и пальчиком, пальчиком, — мы с вами, господа, отвлеклись от утопленников. Утопленники, леди и джентльмены, разделяются по местоположению, местоудушению на мелевых, которых мы для простоты повествования отбросим, и глубинно-суб-

маринных, всецело овладевших нашим вниманием. Сетованием. Отчаянием. Начинанием. Лишнее зачеркнуть.

Почему же я, морда, настаиваю на взрыве? На взрыве снаружи лодки, а не внутри?

И вот, леди, в каждом отсеке, в темноте под потолком, висят утопленники, как люстры, как лангусты...

Взрыв. Скажи, морда, со всей откровенностью, на какую ты только способен, что, если у тебя есть магнитные мины, транспорт магнитных мин? И тебе даже не нужно распаковывать ящики, потому что, пока транспорт шел ко дну, полопались все ящики, лежат свободно все мины. Ты обманут, предан, ты растерзан пытками, ты ненавидишь тесты, тресты. А? Что ты делаешь? Ты ныряешь... Не умеешь? Допустим, что ты ныряешь, припустим, что ты берешь мину в зубы. Шлеп к обшивке. Сделано. И когда надо, и сколько надо утопленников. Под потолком в каждом отсеке. За темноту я тебе ручаюсь, нигде нет такой темноты...

Считается, меня выгнали из океанариума за то, что я будто бы подпаивал дельфинов. Цыц, морда! Будто бы. На самом деле профессор выставил меня из-за полковников. Я всегда плевал на полковников. Напрасно профессор связался, спаялся, свихнулся с полковниками. Тодди-джи тоже плевал на полковников. Только у него не выходило «плевал», то хлювал, то глювал. Я ведь не приставал к Тодди с тестами, задачами, вопросами, колесами. Зато он мне и рассказал на прощание про утопленников в отсеках. Про мины он говорил еще раньше, когда погибла его подружка Тодди-би. Может быть, мне следовало скрыть от него, что Тодди-би замучили полковники вместе с трясогузками в берму-диках? Опыты, эксперименты, оппоненты.

Ты, морда, не сможешь понять, как это случилось, потому что ты просто кобель, кобель-норма, эталон-кобель. А полковники... Вот полковники и есть ультра-кобели, суперкобели, кобели-асы. Когда вблизи от них

вихляется бермудик-шортик, они раздуваются, из них выделяется столько кобелиной силы, что кафель под полковниками позвякивает и трескается. Уж где им уследить тогда, что режут, как колют, куда впрыскивают. Они и науку лишь по-кобелиному трактуют, чтобы отплясывала перед ними танец с кинжалами, стреляла ракетами, ползала на карачках по окопам.

Плевал я на них. Хотя они чуть-чуть не доказали, что Тодди-джи сбежал по моей вине, а потом пришили мне подпаивание. Прикрутили, привинтили, просвистели. Все равно плевал я на них, морда, потому что это еще не все и это еще не выход, ход, приход. Обедня. Допиши три слова.

А выход в том, чтобы думать, считать, повторять, что первая подводная лодка исчезла не через неделю после того, как я выпустил Тодди-джи на волю, а до этого, хотя бы первая лодка. Пусть другие, все другие после, а первая — до.

Ты вправе спросить, что это значит: первая — до? Я вправе ответить, что это значит: значит, Тодди-джи первую лодку не взрывал, не мог взорвать. А из этого вытекает, протекает, что и все другие лодки могли исчезнуть без его участия, причастия. Отметь свободные фигуры крестиком. Пестиком, мостиком, хвостиком.

Идем гулять, морда.



ДВЕ ВЕРБЛЮЖКИ

И доказательства. И доказательства. Вещественные. Показать-то? Могу! И показать. И показать.

Задолго до войны. А ведь и после войны не заикались, чтобы замораживать покойников. Хотя Арктикой и тогда бредили почти все. Уж пацаны только обо льдах, только чтобы родители поехали в Арктику и туда взяли своих пацанов. И даже пацанок. И даже пацанок.

А когда стали замораживать трупы? Да вот прямо сейчас. И к тому смотрят, как на миллионерские фокусы. Точно, говорю, тогда даже ученые не имели в представлении. Если б так-то наткнулся кто из вас — чтобы рядками, рядками лежали во льду аккуратные жмурики, в обертке, с проволокой. И эти еще на них, на каждом, пластинки.

Я-то у нашей пацанвы был образцом, что ли, самым желанным, не то чтобы другом, приятелем, а угнетателем. Делай с ними что хочешь, требуй — стерпят, подчинятся и будут рады. Отец у меня по году проводил в Арктике, в арктических рейсах. По моим словам, капитаном, а на самом деле матросом-мотористом. И не любил выпить. Не любил.

И ни грамма не рассказывал ни мне, ни матери. А пацаны ждут. Я тоже напускал на себя мрачность перед ними. Ну а как что придумаю, так начинаю выдавать по слову. Только и мне хотелось настоящего, не с потолка. Сначала лишь мечтал не спать — вдруг он по ночам будет рассказывать матери. Но потом как-то попробовал, еще попробовал и стал привыкать.

И еще со злости. Лежу, прислушиваюсь и злюсь: расскажи, расскажи! А сам придумываю, как за капитана. А он придет мрачный, все молчком, и с матерью молчком. Вот и придумывал, как в кино или по радио. Ну, меняю там, комбинирую, от себя почти ничего. Лишь постепенно научился сочинять и от себя. От себя.

Даже сам привык, что повторяю пацанам его рассказы. От этого, когда он после очередного рейса все-таки поделился с матерью — в первую же ночь рассказал, повторил на другую и после вспоминал детали, — я совсем не воспринял: как будто не с ним, как будто не в Арктике. Ничем не связывалось с моей Арктикой. И пацанам не рассказывал и вроде забыл или отбросил.

Про замороженных. Про замороженных — во льду рядами трупики, электропроводка от них, как сейчас от космонавтов. То ли айсберг был, то ли что другое, но послали отца на него забраться впередсмотрящим. Искали моржей будто или полыню пошире, уж не знаю. С вельбота послали наверх. Получилась там спешка, потому что подозревали шторм, а может быть, и по плану невыполнение. Скорей. Отец лез и озирался, а с макушки, как встал — там образовалась площадка — уви-

дал сразу. Вон там, показывает, три румба на зюйд-вест!

— Давай вниз! — орут. — Майна!

Тут он споткнулся, и звякнула пластинка, а может, блеснула, потому что в глаза бросились пластинки на мертвецах — золото! И мертвецы, как пригляделся к золоту, немного погода. Пригляделся к золоту.

Что тут сказать? Отец ни грамма не хотел брать, если б старпом не матерился, чтобы слезал, если б не золото. Он бы и рассказал и показал для научной пользы, а тут рванул с ближайших жмуриков по пластинке — и вниз, и майна. И майна.

Они в ту ночь с матерью зажигали свет, разглядывали эти пластинки. Брали мое увеличительное стекло из тумбочки. Я не шелохнулся. Мать удивлялась, а отец сказал, что ни по какому не выходит, и предположил, что и они как бы и люди, чьи трупы, а вроде не с Земли. Но, когда он слез с айсберга, на самом деле вышел шторм и переиграл всю ледовую обстановку. Где лед, где айсберг — все угнал, расчистил море. Тогда их траулер досрочно осуществил план и обязательства. Я не шелохнулся.

Отец в тот раз гулял дольше на два месяца, а пил меньше. Они с матерью и накупили всего. Даже в Торгсине. Даже в Торгсине.

Я и говорил, что задолго до Отечественной. Да нет, разве непонятно: отец переплавил пластинки паяльной лампой. Отсюда и Торгсин — на золото. Два верблюжьих одеяла и мыла хозяйственного на сдачу, четыре куска. Сколько времени прошло, но такого хозяйственного мыла, как то, и сейчас нет. Верблюжек тоже.

Как какие вещественные доказательства? А две верблюжки-то? Они мне остались после смерти родителей. Хоть поизносились, а по теплу не уступают, и рисунок. И рисунок.



НЕ-КЛЕОПАТРА, НЕ-ИКАР, НЕ-ШЕРЛОК ХОЛМС

«...падение с двадцатиметровой высоты на дно каменоломни повлекло множественные переломы ног, перелом позвоночника и разрыв спинного мозга. Смерть наступила мгновенно...» — из медицинского заключения.

Значит, вас интересует какой-нибудь криминал с закавыкой, а? Или, говорите, загадочный случай из моей следовательской практики с большим загнутым вопросительным знаком? Что ж, есть и с вопросительным знаком, и с большим и с загнутым. Только я буду без литературностей вроде: меня разбудили в половине шестого. Было пожее утро, но полюбоваться облаками я не успел. В доме отдыха, куда меня вызвали, произошло странное самоубийство. Мне, как сухарю-законнику,

больше по душе современный стиль — описываются не облака, а копия квитанции из прачечной, свидетельство о расторжении брака или троллейбусный билет. Вот я и цитирую документы.

«...А как оказался в каменоломне, — потому что я каждое утро в любую погоду совершаю пробежку по маршруту: вокруг парка, мимо рощицы около дороги в каменоломню, пробегаю каменоломню насквозь и к реке — купаться, очень полезно. Хорошо, сейчас, точно, как видел, так и скажу. Увидел я сразу, как только выбежал из узкого места, там вроде естественных ворот в каменоломню, две машины не разъедутся, выбежал — и прямо передо мной висит в воздухе человек. Так мне показалось, потому что может выйти иллюзия при движущихся предметах. Особенно если наблюдатель находится в движущемся положении. Получается оптический обман. И он начал падать, потому что я остановился как вкопанный. Да, подтверждаю, начал падать, а до этого будто висел, когда я двигался. Нет, категорически, он не стоял на обрыве, а был в воздухе. Может быть, на уровне обрыва. Может быть, ниже, вернее, ниже, надо полагать, что ниже, если он падал...» — стенограмма показаний очевидца.

«Ищите женщину». Но нам не нужно было искать, она сама ждала нас. Если ее состояние можно назвать ожиданием. Когда происходит катастрофа, всегда есть кто-нибудь, кому кажется в ослеплении горя: узнай точно, из-за чего, — и исправится непоправимое, вернется невозвратное.

Она больше всего хотела убедить нас, что это не самоубийство, будто согласись мы с ней — и он немедленно оживет. А сама ничем не могла помочь восстановить ход событий, даже не знала, когда он ушел. Не проснулась. Он не первый раз оставался у нее.

...Нет. Нет. У него не было причин. Не было. Не было. Он был счастлив. Был. Был!.. Годится цитата?

Эдакий женский рационализм без воображения. Небось Клеопатра смогла бы допустить или даже прежде всего подумала, что он покончил с собой от избытка счастья. Остановись, мгновение!

Однако документов, как сейчас любят говорить, писать — в общем-то, хватало в общем-то документов. Как нарочно, оказались и заключение психиатра, и справка от невропатолога, которые с абсолютной достоверностью подтверждали то, в чем нам очень хотелось усомниться, а дальше построить на усомнении версию. Психика, нервы пострадавшего были не только в норме, но и, вроде бы сказать, со значительным запасом прочности.

Подшили мы к делу и письмо, которое он отправил накануне своему, прибегнем к пышности, наперснику и которое подтверждало, что он был счастлив. Был. Был!

...Доверие! Оно рождает силу, отнимая ее. И чем больше отнимает, тем больше вызывает к жизни. Встать на цыпочки, чуть оттолкнуться или просто, не отталкиваясь, оторваться от земли и парить в пространстве. Доверие!..

Ну, разве не скажешь тоже: был. Был. Был! Не думайте, интимное для всех табу. И для следователя. Потом, кому интересно застать даже раскрасавицу... Да уж ладно. Счел я тогда, что вчитываться в письмо неловко и, главное, излишне. И лучше бы мне остаться навсегда при этом мнении. Так нет! Стали меня подзуживать цифры, арифметика.

...Ближайшее расстояние от спроектированной на дно каменоломни верхней бровки до места, где лежал труп, составляет 12,4 метра. А мировой рекорд прыжков в длину с разбега, заметьте, не дотягивает до девяти. Хорошо, согласен, рекорд мог пасть и от его ноги. Тогда еще одна фраза и тоже дословно... Тщательный, много-

кратный осмотр бровки, откуда мог произойти соскок или падение, показал, что к краю обрыва никто не подходил, так как не обнаружено наличия следов, которые, учитывая прошедший за день до происшествия дождь, дали бы отпечатки. ...Музыка! Замысловат, но точен язык протоколов.

Как тут удержаться и не поискать ответа, и не только в письме, но и в дневниках. Вы угадали — она. Она прислала его дневники. А я? Я стал жертвой собственного любопытства. Был бы один знак вопроса, обычное недоумение, которое мы вкладываем, когда пишем: при неясных обстоятельствах. Авария при неясных обстоятельствах, ограбление. Как бы ни хотелось, как бы ни было нужно, а недостает фактов. Такова практика. А тут нагородить забор из вопросительных знаков, вообще потерять ту самую практическую почву из-за любопытства, из-за не-Клеопатры. Зачем? Ведь она не станет ни Клеопатрой, не вернет ни крохи из того счастья, которое было, было. А я?

...Отшиб пятки, и мне стало стыдно... — вот они, слова, которые все время лезли, лезли с языка и все-таки вылезли не вовремя. А могли выскочить и раньше, такое у меня укоренилось присловие, и все с тех пор. Может быть, я наткнулся на них не сразу, зато они сразу повернули мое внимание. Не было в них притязательности, выпренности, и я поверил: да, отшиб пятки. Хотя надо было не придавать значения. Но ведь, пожалуй, нигде нет объяснений, почему нас тянет поступать или думать не так, как надо, не так, как лучше и для дела, и для самих себя.

Отшиб пятки, и мне стало стыдно... А перед этим такая история.

...У меня никогда не было сомнения, что я смогу взлететь и летать. Сначала я думал, что и все тоже могут взлететь и не летают просто за недосугом. Потом, когда подросток, стал понимать: другие не летают, потому

что очень рано забыли, что могут. Я сам иногда забывал надолго, или, вернее, заглушалась, затенялась эта способность, как вещи на дне сундука, переходящие без употребления от поколения к поколению. Талант, не давший еще ростка, тревожит, бередит и порождает скрытность. Я ждал, я готовился взлететь, когда почувствую, что можно. Только привстать на цыпочки и медленно начать подниматься, без напряжения, но силой в себе подавлять тяжесть. И я ощущал, что она, эта сила, у меня есть, и понимал — ее надо прятать, как неготовый еще подарок. Я был уверен: нельзя, чтобы увидел кто-нибудь. И тогда в лугах, около ложбины, закрытой кустарником, я прежде всего огляделся. Жарко, аромат цветов, пестреющих из разнотравья, в небе — солнце и жаворонок. Никого. Я приподнялся на цыпочки, сосредоточил силу — и сразу из-под пальцев ног ускользнули трещинки тропинки, я поднимался. Увидел луга шире, все кусты на той стороне ложбины, а за кустами... За кустами кто-то шел мне навстречу! Я рухнул. Отшиб пятки, и мне стало стыдно...

Вот, посудите, если б тут были другие слова. Эти же засели, как гвозди. Аромат достоверности. Хотя потом сюжет развивается по канонам. Трагическим, но канонам. Наш не-Икар не раз вспоминает, что на тропинке взял верх стыд, испуг. Он так никогда и не решился повторить опыт. Теперь благодаря обретенному счастью он чувствует, что преодолел тот стыд, и снова в нем накапливается та сила. Скажите, ну при чем здесь стыд?

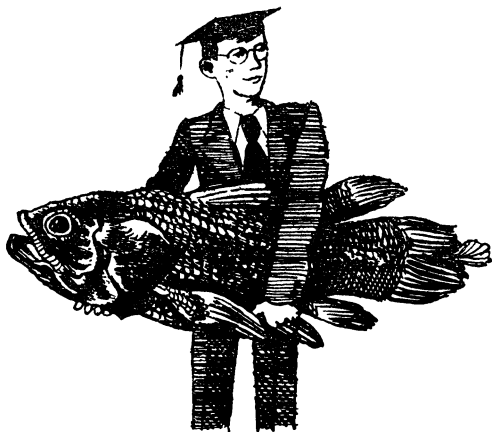
«...Полет не физиология, а психология. Мое внимание спуталось, скомкалось, от этого я и упал.

Никого. Хотя бы при первых попытках никого. Сколько раз мы ни бывали в старой каменоломне, всегда ни души. Днем. А я пойду туда рано утром, вместе с солнцем...»

Опять повторяю свой риторический вопрос: зачем мне

это? И пятки, и стыдно, и вместе с солнцем? Кто принял бы у меня, например, такую версию: несчастный случай в ходе опытов по левитации? Угу, знаю всякие слова, а спокойнее, выходит, их не знать.

Нет, как говорится, не поступало к нам больше материалов. Да и уговор есть. Помните, мы согласились, что застрянем на большом, загнутом вопросительном знаке? В конце концов я ведь тоже не не-Шерлок Холмс.



ДРЕВНЯЯ РЫБА ДВАЖДЫ

Как будто вдруг высохла вода в широкой и глубокой реке, и лишь кое-где остались лужицы в самых глубоких местах. Так выглядит Узбой — след от реки в песчаной пустыне. Только никто не может сказать, когда текла река, и многие сомневаются, текла ли, а лужицы — это большие озера. Есть озера — котлы под отвесными глиняными стенками, они выточены водопадами, может быть, несколько тысяч лет назад. Но вода в котлах под стенками с тех пор почему-то не высохла, хотя стала горько-соленой, солонее, чем морская. Все озера на Узбое такие пересоленные, кроме одного — Ясхана — оно пресное.

Много загадочного на Узбое, в происхождении Узбоя. А нам прежде всего достались не загадки. Даже у меня на какое-то время отбило всякий вкус к научной деятель-

ности то, что нам досталось и сколько нам досталось пошалманить. Есть такой совершенно ненаучный термин — пермин, но зато знаем его лишь мы, участники пустынных экспедиций тех лет. Нет, я не задаюсь и еще не отрастил бороду, но тогда у нас не было вертолета, и мы не могли стрекознуть на Узбой за полчаса, ни вездехода, чтобы прокатиться по барханам, как по снежным горкам на лыжах. Наш грузовик годился для дорог, для такыров, для самого свирепого бездорожья в твердых глинистых пустынях, где он, как кошка, карабкался по тысячам оврагов. Кипя радиатором и взбивая пыль, горькую, едкую, грузовик полз и по розово-желтым рыхлым солончакам, с разгона перескакивал голые барханные языки, перелезал целиной через барханные цепи полужакопленных растительностью песков. Если же попадались разбитые пески, он пятился, потому что оседал, закапываясь задними колесами, вроде растерянно чесал в затылке и жалобно оборачивался к нам. Сразу же из кабины, оставив дверцу на отлете, отчего и выходило, будто у грузовика выпячивается локоть из-за его автомобильной головы, выскакивал Рафик и падал на корточки перед задними колесами, и тоже поднимал локоть к голове, и тоже оборачивался к нам. Мы уже знали, как все это будет, когда спрыгивали с кузова перед штурмом бархана, хоть и надеялись, что вдруг проскочит машина и мы тогда будем весело бежать вдогонку налегке. Только Рафик оглядывался на нас не жалобно, а свирепо, и ведь действительно медлить нельзя, не к чему, вредно. Мы разбегаемся по местам — доставать из кузова бревна, ломать сучья саксаула, выгребать перед задними колесами канавки, разгребать в песке у передних широкую площадку — все руками. Обнимаешь песок и толкаешь, а он вытекает, уходит из рук, сухой, мелкий, пылит, поэтому лопатой еще труднее. Разом под оба задних колеса в промежуток между покрышками втапливаем концами бревна — шалманы.

— У нас готово! — орут с одного борта.

— А у нас давно готово! — вопят с другого.

Это для бодрости, для Рафика, для себя, потому что много еще надо успеть и быстро успеть, пока грузовик медленно тронется, покряхтит, вскипит и перевалит, может быть, перевалит через гребень. А сейчас скрежещет сцепление так, что отдается в нас, словно каждый скрипит песком на зубах. Мороз по коже. Раскручиваются со свистом колеса — обороты! — пробуксовывают по бревнам покрышки, дымятся бревна, откуда-то и что-то свистит. Заставить колеса затянуть под себя бревна и не прозевать, не стукнуться о подножку, под которую неминуемо нырнет бревно, не попасть кистями между бревном и подножкой. Это похуже, чем песок на зубах, хоть подножка давно и разбита, лишь торчат кронштейны с ржавыми болтами. И самое главное — еще успеть не пропустить момент, чтобы втолкнуть под колеса вторую пару бревен, когда будет кончаться первая. Так начинается самое-самое начало, а потом продолжается, повторяется, усложняется. Бревна нужно снова пускать в ход, а они вдавлены в песок, впрессованы пятью тоннами. Выскребать-то пальцами!

Вот почему я так смотрел на Узбой с последнего гребня, на Ясхан, будто это не самое неожиданное, не самое красивое во всей экспедиции, а просто так, и больше всего хотел чаю. Чтоб не собирать дров для костра, чтоб не ставить палаток, не разгружать машину, чтобы сразу — чай. Индийский черный, а не зеленый, как думают некоторые. В Каракумах пьют черный, только черный, и предпочитают индийский, гостей надо угощать индийским, иначе не угощение. Только чай, лишь чаем можно напиться в зной здесь, горячим чаем. Я помогаю разгружать машину, хотя я не в состоянии ничего делать, кроме питья чая; я участвую и в разбивке площадок под палатки, хотя через засохшую глотку не проходит воздух, нельзя дышать через такую глотку; я соби-

раю дрова, хотя у меня не сжимаются руки, не ходят ноги. Собираю не только, чтобы разжечь огонь и вскипятить на нем чай, но и чтобы сварить плов на ужин и чтобы подкладывать в костер после ужина.

Вот почему я совсем не смотрел на озеро Ясхан, одну из загадок древнего Узбоя, главную его жемчужину, — пресное озеро Ясхан в самом пустынном центре раскаленных песков, синее и изумрудное, и с розовыми бликами, и с белыми глинами крутых берегов Узбоя, и в зелени своих берегов. Потому что собирать дрова, ставить палатки и разгружать машину — мои обязанности по лагерю, замечать же красоту или вести научные наблюдения — это сейчас не по лагерю, а если не по лагерю, тогда только чай, и то после того, как выполнены все обязанности. Я так усердно не смотрел на озеро Ясхан, что даже и не думал о нем и не сообразил, что в нем можно искупаться, в озере. А все посчитали, что я проявил, показал, сдержал, потому что они все подумали о том, как хорошо бы сразу, до обязанностей, искупаться и чтобы на это намекнул или выдал свое желание чем-нибудь я. Тогда они обязательно пойдут мне навстречу, только бы я выдал свое желание. Но как я мог его выдать, если я совсем и не вспоминал о купании. Так и получилось, что я сдержал желание, проявил выдержку, показал дисциплинированность, и это как раз тогда, когда у меня не оставалось их ни капельки, даже способности научного анализа притупились на некоторое время. Раз уж тебя начинают сообщая делать героем, то и сам поверишь, и не потому, что приятно, а еще и потому, что убедительно. Стоило мне услышать, что я ужасно стойкий, — хочу купаться и сдерживаюсь, как я сейчас же почувствовал или, лучше написать, открыл в себе и желание искупаться, и стойкость, и выдержку напополам с дисциплинированностью, иначе почему же я не выдавал своего желания раньше? И мы искупались, не dokonчив организацию лагеря совсем на чуть-чуть, бросили кос-

тер, который начинал разгораться и над которым пора было повесить чайник.

Пока мы купались, костер погас, зато после купания и даже во время купания у меня начали восстанавливаться способности наблюдать и делать выводы. А после купания мне ничего не стоило одновременно заканчивать работы по лагерю, любоваться отвесными глинами Узбоя, воображать его каньоном, щуриться на блики озера, вести приблизительные научные наблюдения и поставить решительный эксперимент, результаты которого превзошли, — дядя любит посмеиваться над своими студентами, что они непременно ждут от любого эксперимента таких превосходящих самые оптимальные наметки результатов, и пожимает плечами, как будто так не случается, — да, у меня превзошли, и даже не оптимальные наметки, а сверхвсякие, превзошли мечту. Однако я не сказал никому ни об эксперименте, ни о мечте.

Тут уж не дядя один, а и Леонид Ефимович, Михаил Константинович, Наташа и любой дядин студент будут посмеиваться, если хоть самое пустячное сообщение подтвердить лишь одним-единственным экспериментом. Нужен контроль — второй, третий эксперимент. Чем превосходнее результат, тем больше экспериментов, или дай пощупать, положи на стол. Например, предсказываешь залежи нефти — подай сюда нефть, пусть каплю; золото — клади золото. А косвенных данных и сто и двести — всегда мало. Говорят — недостоверно. Если ты видел эту нефть своими глазами и рассказываешь, все равно косвенные данные, недостоверные, «со слов». Мой же превзошедший мечты результат одного-единственного эксперимента и есть косвенный. Не для меня, конечно. Для меня он как ну самый верный друг, знаю: обещал — сделает. А для них. Пока не положу, не дам пощупать рыбину, эксперимент засекречен.

Что, если от таких правил, от такого недоверия, думаю я иногда, много и вреда? Мы бы давно слетали на

Марс, если верили тем, кому сразу видно, что верить можно, а не заставляли их доказывать всю жизнь, что эксперимент или теория правильны. Галилею и сразу, и всю жизнь не верили монахи, а Циолковскому тоже не сразу, и не монахи — ученые, и он так и не увидел ни одной ракеты, которая годилась бы для запуска в космос. Лучше ждать от каждого не обмана, а правды. От всех людей и ученых тоже, чтобы они не доказывали свою правоту, а уходили вперед, пусть, кто не верит, доказывает. Вот тут у меня что-то не выходило: значит, если докажет неправоту — ему тоже верить, а как быть с тем, кому поверили раньше? Я всегда засыпал, когда начинал искать решения.

Не спать, продумать, взвесить, оценить, запрогра... — зевается все-таки, — запрограммировать. Главное — из чего сделать крючок, чтобы поймать в озере Ясхан рыбину... Сазанину...

Я уснул у костра тут же после ужина. Меня, говорят, разбудили, я полез в палатку и опять, говорят, уснул на полпути, и рассказывали, рассказывали, сколько раз я еще засыпал и как меня будили, пока я не залез в спальный мешок, — ничего не помню. И все-таки я запрограммировал, потому что утром знал точно, как и что и из чего. Крючок — из иголки, леску — из ниток. Иголку отжечь, нитки сложить вчетверо. Незаметно, секретно. Потом, когда выйдет, пожалуйста! Вчера — эксперимент, сегодня — результат. Сазан-рыбка. В пустыне! Откуда, как? Вот так Детт, скажут. Расскажи, Детт, про эксперимент. А нечего и рассказывать. Забросил кусочек лепешки за береговые камыши в озеро Ясхан и собираю дрова. Лепешка плавает, ее относит ветром к камышам, все ближе, ближе... Ага! Бурунчик около лепешки, и над водой высунулось похожее на косой парус рыбье перо, спинной плавник. Вос! Чмок! — исчезла лепешка. Как на Выставке народного хозяйства в Москве. Там мы тоже кидали хлеб в пруды, в которых разводят сазанов, и не

одни мы, там не переставая чмокало, и высовывались из воды сазаны, как киты. Только в тех прудах не разрешается ловить рыбу, а в котором одном разрешается, в нем не чмокает. Я показываю, на какую снасть попался мой китообразный сазан, не меньше выставочного, — на гнутую иголку с ниткой вчетверо. Все будут щупать иголку, нитку, взвешивать на руке сазана и дуть ему в рот. Мне всегда хочется подуть в рот живой рыбе, может быть, кто-нибудь еще тоже захочет. Может быть, дядя или Наташа. Мне это представилось. Дядя дует в сазана, как в надувной матрац, и сазан увеличивается, а Наташа...

Вот уж это я не люблю, не люблю загадывать — еще иголку не согнул, а сразу кит, матрац... И откуда у меня такое мальчишество? Или на рыбной ловле у всех так? Я замечал, перед рыбной ловлей рассказывают, место хвалят, говорят «обловимся» и взрослые и старики, а про себя уж не обходится, я думаю, без китов у каждого рыболова. Зато после рыбалки разговаривают без восторга, грустно выясняют, почему ничего не поймали, по какой роковой причине, на таком прекрасном месте. Ни разу, ни у кого, даже самый небывалый улов не равнялся загаданному. Вот почему мало кто, побывав однажды на рыбалке, становится рыболовом или пожелает половить рыбу хоть еще раз. Им кажется, что их надули так крупно, а они так глупо попались, что с тех пор, услышав о рыбной ловле, либо смеются и подмигивают, либо краснеют и укоризненно качают головой. Они загадывали и мечтали так же легко и отчаянно, как самые заядлые рыболовы, а разочаровываться не умеют, как рыболовы. Потому что если послушать самых разочарованных рыболовов после самой неудачной рыбалки, послушать, когда они уже подходят к дому, то окажется, что они говорят с восторгом о будущей рыбалке, рассказывают, говорят «обловимся» и взрослые, и старики, и мальчишки — все равно, раз они рыболовы.

После первой в моей жизни и совершенно неудачной рыбной ловли, на которой никто ничего не поймал, а мне не дали ни поддержать, ни закинуть удочку, я только и думал, как бы снова отправиться «на́реку» — да, да, так и выговаривалось в одно слово. Купаться тоже ходили на реку, но тогда говорилось: айда! Может быть, чтобы не заострять внимания взрослых. Мало ли куда айда, а как купаться, значит — тонуть. Тонут ведь иногда и ребята, не мы, конечно, кто-то, возбуждая у наших родителей ненужные страхи. «На́реку» мы отпрашивались и давали с легким сердцем слово не купаться, потому что и не собирались купаться на рыбной ловле. Разве станешь купаться, когда тебя распирают надежды, а когда через несколько часов наступает наконец разочарование, просыпается голод, и уж совсем не до купания. Домой! К сожалению, мои приятели подолгу не брались за удочки, видимо, у них не было такой рыболовной заядлости. И я страдал, меня не отпускали к реке одного, а просить приятелей — значило напоминать им недавнее разочарование, все равно что ворошить незажившие раны, только хуже. Но я не выдерживал, ворошил, раны открывались, и день следующей рыбалки отдалялся еще больше. Я занялся снастями: привязывал и отвязывал леску от удилища, передвигал поплавков, укреплял крючок и пересчитывал все запасные крючки и грузила. Взрослые рыболовы тоже в свободную минуту хватаются за снасти. Покупают всякие лески, катушки, блесны и горы крючков. Некоторые на этом и успокаиваются, сидя дома или лежа грудью на застекленном прилавке в спортивном магазине. И еще воображение. Оно и подстегивает, но и утешает. Течет дождевой ручей, а воображение делает его потоком среди скал, и уже прикидываешь, на каком из его порогов могут быть форели, а в заводях язи. Даже лужа, даже вода в канаве подталкивает рыболовное воображение. А уж о блеснувшем сквозь деревья или между домами водоеме и говорить нечего. И самый страш-

ный сон для рыболова — это как будто стоит он на берегу без снастей в руках.

Во всем я превзошел всех самых заядлых мечтателей и воображателей, даже самого себя. Я пробовал ловить рыбу там, где ее никогда не было, не могло быть и не будет. Зная это, я все-таки забрасывал удочку. Наверно, я тогда был еще маленький. Потому что позже я стал стесняться и уж стеснялся тоже с размахом — людей, коров, лошадей, собак и даже самого себя. Удочка будто не удочка, и я иду просто так, не к пруду, гуляю около. А около пруда сады, огороды около пруда. Зачем мальчишка просто так гуляет рядом с заборами и смотрит на яблоки, на смородину?

Собаки делали вид, что захлебываются от ярости и изо всех сил стараются перескочить через забор, чтобы загрызть меня немедленно. Это они показывали свое усердие хозяевам, садоводам-огородникам. А еще считается, что животным неизвестны ни ложь, ни лицемерие. Когда хозяев не было, собаки на меня не лаяли, лежали на припеке и шурились с ухмылкой: знаем тебя, рыболова, дурак ты, парень, в пруду живут не рыбы, а только головастики со своими родителями, — и зевали, загибая языки салазками. Теперь же, на глазах у садоводов-огородников, свирепели они одним боком, который к саду, к хозяевам, а другим боком, который ко мне, конфузились, что вот, не хуже меня им приходится ломать Ваньку. Может быть, я зря сказал ложь, лицемерие, просто собачья дипломатия, для общения с людьми. Садоводы-огородники отрывались от земли с удовольствием, что им представился наконец повод распрямить спины, долго меня разглядывали, и им хотелось усмотреть во мне чего-нибудь, хоть капельку разбойничьего, грабительского, чтобы получилось, что они не зря оторвались от грядок. И я, позор мне, позор мне, еще больше, чем садовники-огородники, жаждал, чтобы меня лучше приняли за грабительского подручного, огородно-

разбойничьего разведчика, чем за меня самого. робкого рыболова-мечтателя.

Только, если вы мне сейчас не поверите, я вам и совсем никогда не поверю. Даже девочкам. Не поверю, когда вы мне расскажете, что вы совсем не стесняетесь, и особенно если вам чего-нибудь хочется очень, что вы не делаете вид, что вам и не хочется, и даже не притворяетесь, что не видите то, что вам хочется очень, хотя и смотрите на него. Не поверю. Потому что вредно получать все сразу же, как захочется: схватил — обжегся, проглотил — подавился. Ведь никто не говорит «давай дружить» всем подряд сразу, как увидел, а если и говорит, получают слова, а не дружба. Такой человек хочет, чтобы к нему относились хорошо, чтобы с ним дружили, а сам никому и не друг и не знает, чего ему нужно. Что перед ним сейчас торчит, то ему и кажется: «Дай!» Кажется, лишь кажется. Мама говорит, что хорошие родители не те, которые дают, а те, которые умеют отказать, и умеючи отказать даже труднее, и это и есть настоящее воспитание. Вот почему я не поверю вам, если вы мне не поверите, что со мной все было, как я рассказал. Раз у вас хорошие родители, значит, вы воспитаны по-настоящему и понимаете сложности жизни.

А сложнее сложности, чем сложность на берегу озера Ясхан, в моей жизни не бывало: оказаться, как в самом страшном для рыболова сне, на берегу уединенного водоема без снастей. Водоема, который, может быть, набит рыбой всяких видов, а не одними сазанами, да и сазаны здесь вдруг особенные. Кто обнаружил? Я! И что, если в Ясхане клюнет у меня кистеперая рыба, выберут меня в академики или не выберут? Что же это выходит: подросток может стать чемпионом мира, если поставит мировой рекорд, а если сделает мировое открытие, его не выберут в академики? Выберут обязательно, и, может быть, даже почетным академиком.

Но все это не для меня, меня никуда не выберут теперь. Будь там хоть ихтиозавры, разве их поймаете без снастей. Смешно ведь, правда, поплавочек: тюк! тюк! подсекаешь — ихтиозавр! Все это проносилось передо мной, во мне в то время, как мой единственный эксперимент превосходил мечту и от камышей расходились круги по всему озеру. Так я разозлился на себя, на свое воспитание. Я сам воспитал в себе эту глупую тягу к жесту, родители тут ни при чем. Они и не могли заметить, как я воображал себя совершающим эти жесты, например, отказывался навсегда от мороженого, чтобы показать сестренке, какой у меня твердый характер, или от кино. Решал про себя, что перестану ходить в кино всем на удивление. Но на самом деле я спокойно ходил в кино и ел мороженое, и от этого мне сильнее мечталось от чего-нибудь да отказаться, заявить: все, точка! И сдержать слово. Уж очень хотелось обзавестись характером, а главное — самому знать, что да, есть характер. Когда же меня приняли в экспедицию, я должен был совершить наконец что-то такое, без характера не поедешь в пустыню. Я решил отказаться от рыбной ловли на время, пока буду в пустыне. Такой заядлый рыболов — и отказывается! Характер? Конечно, это тоже был сплошной самообман: я понимал, что в пустыне не бывает рыбы. Но жест все-таки сделал — оставил дома моток лески с поплавком, грузилом и крючками, который всегда и везде носил с собой в кармане.

«Вот так и бывает в жизни ученых, — думал я, стоя на берегу озера, — крохотная ошибка, пустяк может стоить усилий многих лет. Оставишь дома леску и не станешь академиком!»

В академии столы для опытов и операций, и никаких ковров, тишина. Однако когда я вхожу с кистеперой рыбой, тишина нарушается, словно порыв ветра зашумел в деревьях — это академики потирают руки: «Вот сейчас будет!» Я приподнимаю кистеперую рыбу за жабры

и осторожно кладу на хромированный стол. Рыба ударяет по столу хвостом... Потому что, как я ее поймаю, на озере Ясхан случайно окажется вертолет, потом с вертолета меня с рыбой посадят в реактивный лайнер — и в академию, рыба живая, пожалуйста!

Кто откажется стать академиком? Вот почему я решил сделать крючок и леску и все-таки поймать редчайшую и древнейшую на свете кистеперую рыбу! С крючком я повозился, хотя сделать его из иголки совсем просто: отжечь иголку на костре, чтобы она стала гнучая, согнуть крючок и закалить его, чтобы не разгибался, когда подсечется рыба. Накалить докрасна и пшик! — в воду. Как раз пшик-то у меня и не получался, иголка остывала еще до воды, и я столько раз накалял ее докрасна, что она перегорела пополам. Тогда я взял вторую и последнюю иголку и изобрел новую технологию. Может быть, мне стоит подумать о точных всяких науках. Я вылил воду прямо в костер — и на крючок, и на угли, и уж пшик получился на славу. Костер все еще шипел и фыркал, пока я пробовал закалку, прикреплял крючок к ниткам и готовил насадку для кистеперой рыбы. Только я не мог проверить крючок, нажать на него посильнее (если он сломается, у меня нет больше иголок), потрогал осторожно; только я не мог привязать нитку как следует к игольному ушку; только кусочек лепешки не держался на самодельном крючке. И мне опять пришлось изобретать новую технологию, и я опять подумал о точных науках.

Это сейчас легко все представить последовательно, а тогда я чуть не бросил дело на половине. Очень уж трудно пробиваться в науку. Пошутил ведь, а уж совсем привык и так и считал, что не привязываю хлеб к крючку, но изобретаю, создаю, ставлю решающие опыты на глазах у своих студентов, будто бы на футбольном поле в центре стадиона. Все замирает, не дышит стадион — я иду к воде. Сейчас начну. Раскачиваю ле-

пешку на ниточке: кач... каач... кааач! Отпустил нитку, лепешка взвилась прямо над головой и упала на песок сзади. Хорошо еще, стадион не настоящий, воображаемый, сколько уж свисту мне бы досталось тогда. С поля! Мазила! Зато лепешка крепко держалась на крючке. Кач... каа... нет, не крепко — полетела в воду лишь одна лепешка, нитка с крючком намоталась на пальцы. С поля! Ничего, другой кусочек привяжем покрепче, пока еще две попытки, рано еще с поля. Тут вдруг вооо! чмок! плюх! совсем рядом с берегом! Сожрала кистеперая кусочек лепешки, который улетел с крючка в воду. Затряслись у меня руки, я стал зачем-то оглядываться, словно боялся, что кто-нибудь переманит к себе мою добычу. Вот тебе и с поля.

Незачем раскачивать лепешку на нитке. Я расправил и уложил нитку вдоль берега, взял крючок с лепешкой на ладонь, оглянулся все-таки зачем-то и швырнул лепешку с ладони, как с лопатки. Точно! Технология! Лепешка плавает, от нее тянется к берегу нитка, а от берега — ко мне, я держу конец нитки. Если за лепешку схватится на самом деле кистеперая рыба, то за другой конец нитки будет держаться академик — я. У меня на затылке зашевелились от ожидания волосы. Схвати, схвати, кистеперая, схвати, древнейшая. И как всегда, когда ожидаешь напряженно, с нетерпением, то, что ждешь, происходит как будто неожиданно, как будто ты совсем не готов, и хочется сказать: стой! Под лепешкой беззвучно провалилась вода, и лепешка исчезла в провале, вода сомкнулась, меня потянуло за руку, за нитку к озеру, а я все еще ждал, когда услышу чмок! И чуть не выпустил от неожиданности нитку. Или я не услышал от волнения, или на этот раз рыба приспособилась засасывать лепешки беззвучно. Опомившись, я схватился за нитку обеими руками. Только бы крючок, только бы не... я не знал, что «НЕ» — НЕ разогнулся, НЕ сломался? Только бы крючок... только

бы крючок. Про нитки я не думал. А нитки натягивались все сильнее. Будто к ним привязано тонущее бревно. И меня тянуло это бревно.

Тогда я попробовал тоже потянуть. Бревно остановилось. Я еще потянул, бревно начало всплывать, сейчас покажется, сейчас — я перебирал нитку, наклонялся ближе к воде, не прозевать, увидеть и схватить за жабры или за что попало кистеперую. И я увидел сначала черную толстую спину, потом золотистую жаберную крышку с глубокую тарелку, плавник и глаз, который в этот момент как раз взглянул из-под воды на меня, и я очутился в воде. Я думаю, когда рыба меня увидела, она метнулась вглубь, дернула за нитку, а я и так стоял перегнувшись, чуть не падая.

Хорошо все-таки, что это случилось в пустыне. Кроме того, было жарко. Выкарабкиваясь из тины, я на всякий случай делал вид, что искупался, может быть, добровольно. И не сразу вспомнил о рыбе. В руке у меня все еще были зажаты концы ниток, обрывки. Нет, я не думал о кистеперой рыбе, и не потому, что никакой кистеперой рыбы не может быть в пресном озере, а потому, что я не знал, как объяснить это купание, если меня сейчас увидят. И ничего не мог придумать, пока раздевался, полоскал одежду и расстилал ее для просушки. В голову лезла кистеперая рыба, хотя я о ней не хотел думать и знал определенно, что клюнул на лепешку самый обыкновенный сазан, зато такой крупный, что я не справился бы с ним, будь у меня и настоящая леска. Я не мог от нее отделаться, хотя легко отделался от академика и от стадиона, которых навоображал вместе с ней. И, конечно, не смог поэтому придумать ничего подходящего про мокрую одежду.

Меня так и застали за ее просушкой, и я краснел и шмыгал носом. Они все ахнули. Каждый сказал либо «ого!», либо «ой!», мне показалось, даже одобрительно. Потом дядя сказал, что это здорово придумано насчет

стирки, а Леонид Ефимович... мне не совсем удобно повторять его слова, но я повторяю, чтобы показать, какие встречаются в жизни сложности.

— Ты, Детт, академик! — сказал Леонид Ефимович.

И они все тут же принялись за стирку, здесь, рядом со мной, только Наташа ушла стирать к камышам.

Но самое главное совпадение вышло много лет позже и совсем в других краях, тоже на озере. Повторилось буквально все, вплоть до моего падения в воду. А когда я поднялся из прибрежной тины, она, на этот раз настоящая кистеперая рыба, стояла, наполовину высунувшись из воды, положив на поверхность обе лапы-плавника, и смотрела на меня укоризненно или, может быть, грустно. Затем канула вглубь неслышно и незаметно.

Я рассказал о каракумском озере и сазане так подробно, чтобы не выдать местоположение того, другого озера, что было бы, как мне кажется, ужасным предательством, нарушением дружеского договора и безграничного доверия, оказанного мне природой, сначала намеком, будто бы в шутку, а потом прямым приобщением к своей тайне. Только так можно понять это буквальное совпадение.



ДЕТЕКТИВ С БАБОЙ ЯГОЙ

Баба Яга никак не могла решить, что нужно сделать сначала: почесать кончик носа или открыть английским ключом дверь своей избушки. Она уже давно завела ступу в гараж и с тех пор все топталась на крыльце.

Мешок и карманы Бабы Яги были заняты. Там сидело что-то живое, что Бабе Яге приходилось придерживать свободной рукой да еще локтем той руки, в которой она держала ключ.

За дверью внутри избушки то и дело слышался прерывистый механический шум.

— Леший тебя задави, — шипела Баба Яга, — еще и телефон звонит! — Она изловчилась, почесала кончик носа щетинистым подбородком.

Остальное было легче. Войдя в избушку и тщатель-

но заперев дверь, Баба Яга встряхнула из мешка мальчика и девочку, а из карманов щенка и котенка.

Девочка схватила щенка, мальчик — котенка, и, прижавшись друг к другу, все четверо стали смотреть на Бабу Ягу. Им почему-то не было страшно. А Бабе Яге было почему-то скучно.

Тут за печкой опять затарахтело, и Баба Яга заковыляла к телефону.

— На-роге-по-бороде-отвесили-уши, — сказала Баба Яга в трубку.

Мальчик с девочкой и щенок с котенком услышали, как в ответ на ее слова в трубке невнятно заухало, захрюкало, засвистело, закукарекало.

— Ни это, ни это, ни это! — закричала Баба Яга в трубку, как будто застреляла из пулемета. — Не свисти, не свисти! Ни это, не хрюкай! Я еще ступу не помыла. Не ухай. Из командировки приехала.

— Ясно, из отдела кадров, — сказал мальчик тоном соседа по квартире. И добавил тоном пионервожатого: — Давай играть!

— Игрушек нет, — сказала девочка тоном заведующего магазином.

Они впервые попали в такую непривычную обстановку и не могли из-за неловкости разговаривать своим тоном. Даже котенок пытался вилять хвостом, а щенок — мурлыкать.

— Что, один день? Что, один день? — кричала Баба Яга тем временем в телефонную трубку. — День приезда и день отъезда — два дня!

— Хулиганистая девушка, — сказал мальчик тоном сочувствующего пассажира.

— Нервная, — сказала девочка тоном уставшей кондукторши и добавила неопределенным тоном: — Есть хочется.

— Мне тоже! — согласился мальчик своим тоном.

Котенок замурлыкал, щенок завилял хвостом, пото-

му что они тоже захотели есть и тоже уже вполне привыкли к непривычной обстановке.

— Докладную напишу, заявление подам! — яростно угрожала Баба Яга неведомому слушателю. — Лихоманку подошлю. Будь здоров, дорогой! Ухо-на-завяз.

Баба Яга еще немного потопталась за печкой и вышла, завязывая на тощем животе лямки засаленного байкового халата.

— Может, у меня насморк? — бормотала она, подозрительно принюхиваясь. — Обратнo же псиной и кошатиной пахнет. Чую. А вот русского духу нет. — Баба Яга злобно посмотрела на мальчика с девочкой.

— Так вы это кто? — спросила она. — По национальности.

— Мы над этим не думали, — ответили дети тоном воспитательницы детского сада и своим тоном добавили: — Мы хотим есть!

Баба Яга топнула костяной ногой. А как только она топнула, на столе перед детьми появились тарелки с манной кашей, а под столом — мисочки с залитым молоком накрошенным хлебом.

Котенок и щенок тотчас же принялись лакать. А дети, пользуясь отсутствием воспитательницы и непривычной обстановкой, к которой они уже привыкли, проделали сначала с ложками все непозволительные манипуляции и только тогда стали есть манную кашу.

Баба Яга смотрела на детей и прикидывала, нужно ей чего-нибудь говорить или не нужно. Хотела даже сказать: «Намаялись, сердешные!», но спохватилась, что за такие слова ее как Бабу Ягу могут совсем дисквалифицировать, и ничего не сказала.

А дети, как только справились с кашей, стали по-запрещенному болтать ногами, по не менее запрещенному стучать ложками по столу и по самому строжайше запрещенному кричать капризным тоном:

— Дежурный, компот давай! Компот давай!

Баба Яга топнула костяной ногой, и на столе появились стаканы с компотом, а под столом блюдечки с абрикосовым желе.

Щенок ткнулся в желе носом и попятился. Он пятился до самой стены. Там он сел и стал удивленно смотреть на желе, подняв одно ухо и опустив другое. Потом заморгал, вытянул передние лапы, положил на них голову и уснул, так и не опустив одного уха.

Котенок осторожно понюхал желе в своем блюдечке, понюхал желе в блюдечке у щенка, отвернулся и пошел к печке, тщательно отряхивая на ходу лапы. Дойдя до печки, он не стал даже вспоминать про желе, а вспрыгнул на лежанку и сейчас же уснул. Укладывался он уже во сне.

Дети доели компот и сгрызли все просто вредные, вредные-развредные и вредные-пере-перевредные косточки, а Баба Яга никак не могла вспомнить, что нужно делать дальше.

Тогда мальчик и девочка сказали Бабе Яге тоном дворника:

— Теперь, значит, раз: читатель должен знать, и, значит, два: детский сад должен знать. Ради бога! (Дворник всегда говорил: «Ради бога»), — и своим тоном добавили: — Мы хотим спать!

Баба Яга топнула костяной ногой в третий раз, и на месте стола появились две кровати. Мальчик и девочка сейчас же очутились в них раздетыми и тотчас же уснули.

— Леший тебя раздери, — как по писаному удивилась Баба Яга. — Теперь им будет сниться детский сад, а читатель узнает, как они сюда попали.

Она достала с полки чашку с кофейной гущей и стала смотреть в ней, как в телевизоре, что снится мальчику с девочкой и щенку с котенком.

Воспитательницей детского сада была тетя Зина —

Евдокия Ивановна. Тетей Зиной ее звали дети, а дворник и другие взрослые — Евдокией Ивановной. Но она сама ничем не подчеркивала различия между детьми и взрослыми и со всеми разговаривала тоном воспитательницы.

Так же она разговаривала и с милиционером, который пришел в детский сад и спросил:

— Здесь пропали дети?

— Вытрите, пожалуйста, ноги! — ответила Евдокия Ивановна.

Милиционер безропотно покрутился на малюсеньком коврикe и попытался уточнить:

— Мальчик и девочка?

— Снимите головной убор, — охотно ответила Евдокия Ивановна.

Милиционер снял фуражку и, продолжая добиваться своего, намекнул:

— Не из этой случайно комнаты?

— Садитесь! — распорядилась Евдокия Ивановна, оставив без внимания намек милиционера.

Он сел и, вздохнув, постеснялся дальше задавать вопросы, уточнять, намекать и даже кашлять.

Тогда Евдокия Ивановна объяснила милиционеру, сколько бывает времен года, что такое детский сад, какие бывают дети, почему они делятся на мальчиков и девочек, какие родители хорошие, какие плохие, почему ее зовут тетей Зиной и Евдокией Ивановной.

Милиционер все понял, кроме одного, почему Евдокию Ивановну зовут тетей Зиной. Но он не стал переспрашивать и хорошо сделал. Потому что тетя Зина — Евдокия Ивановна начала объяснять ему, что такое милиция, милиционеры, начальник милиции, милицейские свистки, милицейские собаки и сыщики. Если бы он переспросил про тетю Зину, то тут ему бы пришлось переспрашивать на каждом слове, и тетя Зина—Евдокия Ивановна никогда бы не кончила объяснять. Впрочем,

она и так никогда бы не кончила объяснять. Она уже собиралась перейти от милиции к железнодорожному, морскому и воздушному транспорту, имея в перспективе космические полеты, но тут в соседней комнате послышался звон разбитого стекла. Детские крики: «Тетя Зина!», бас дворника: «Евдокия Ивановна, ради бога!» Милиционер мгновенно остался один.

Он быстро догадался, что нужно немедленно действовать, и он немедленно начал обследовать комнату.

Вдоль всех стен стояли платяные шкафчики. У милиционера не было специальной лупы для обследования платяных шкафчиков. Он быстро приспособил для этого лупу, которой обычно обследовал стены, — перевернул ее и переложил из правой руки в левую.

На каждом шкафчике была наклеена бумажка. На каждой бумажке был рисунок. Каждый рисунок был другой: кукла, гриб мухомор, звездочка, зайчик, петух, гриб подберезовик, лошадка, а на двух бумажках рисунков почему-то не было.

Милиционер приложил лупу и увидел на этих бумажках следы. На одной как будто сидел котенок, а потом встал и ушел. А на другой как будто сидел-сидел щенок, а потом встал и ушел.

— Ага! — быстро сказал милиционер.

Как только милиционер сказал «Ага», котенок и щенок, которые спали в избушке у Бабы Яги, вздрогнули.

Милиционер быстро нашел следы острых когтей котенка, которые вели вниз по дверце шкафа на пол. Еще быстрее обнаружили следы неуклюжих лап щенка, которые пробороздили дверцу шкафа до самого пола.

Милиционер быстро достал специальную лупу для обследования пола и пополз по следам на полу. Отпечатки мягких лапок котенка и неуклюжих лапищ щенка шли рядом, а вскоре к ним присоединились и отпечатки босых ног мальчика и девочки.

— Эге, — быстро сказал милиционер.

Как только милиционер сказал «Эге», мальчик и девочка, которые спали в избушке у Бабы Яги, вздрогнули.

Следы вели в угол комнаты. Чем ближе подползал милиционер к углу, тем следы становились меньше и меньше, приближаясь к лежащей на полу раскрытой книге, и исчезли в ней.

— Ну, тут придется разуваться, — быстро смекнул милиционер.

Он подошел к столу, вынул из кожаной сумки лист бумаги и сделал на нем, как делают взрослые, когда говорят: «Отстань, деточка, я пишу», а сами чертят, чертят непонятные строчки.

Но милиционер, кроме строчек, сделал понятное изображение. Оно состояло из нескольких рисунков. На них было показано, как милиционер разувается, как встает босыми ногами на следы мальчика и девочки, и как он идет по ним к книжке и уменьшается, уменьшается, и как милиционер размерами с муху уходит в книжку.

Он так и поступил, как нарисовал: ушел босиком в книжку, в сказочный лес.

Дальше все пошло еще быстрее. Приехали еще милиционеры с мотоциклами. Прочли записку, разулись, сняли с мотоциклов шины и уехали на них по следам мальчика, девочки и милиционера в книжку, в сказочный лес. Вскоре один из них вернулся и вызвал по телефону вертолет.

Вертолет тоже пришлось разувать, чтобы он влез в книжку, — снимать с него шины.

Очень скоро Баба Яга услышала шум мотора вертолета над своей избушкой и вздрогнула. Мальчик и девочка, щенок с котенком ничего не услышали, потому что спали и все это видели и слушали во сне.

Баба Яга открыла заслонку печки, ухватом стала вынимать из печки чугуны, перевортывать их и пускать,

как ракеты, через трубу, как через зенитную пушку. Пускала и командовала сама себе:

— Раздери полдня на четыре корня! Прицел! Полдерева на четверть пня! Огонь!

Чугуны со свистом вылетали из трубы и взрывались над избушкой. Одним взрывом ранило летчика на вертолете, и вертолет начал падать...

Мальчик и девочка хорошо это видели, но им все равно не было страшно, потому что они знали, что сейчас проснутся и окажутся в своих кроватках в детском саду.

И они действительно проснулись. Это не чугуны лопались, а тетя Зина хлопала в ладони, чтобы ребята поскорее вставали, потому что в детском саду кончился тихий час.

Мальчик и девочка сначала пожалели, что Баба Яга осталась в своей избушке сражаться с вертолетом в одиночку, но потом догадались, что раз они благополучно вернулись в детский сад, то и Бабу Ягу тоже оставили в покое, и пошли играть в милиционера, мотоцикл и вертолет.



ПЕЧОРНЫЙ ДЕНЬ

Случайно вышло так, что знаю я историю, в которой не только переплелись все темы давешних разговоров, но и как бы обрели в ней телесность. И фантастика, и найденные в джунглях или горах, подчеркиваю, или в горах, неизвестно чьи дети, и лекарственные растения, вплоть до мумие, хотя оно и не растение, и даже брошенные в шутку слова о живой воде: дескать, вот бы! Фляжку бы! — все участвует в моей истории, моей, потому что я, похоже, один на свете и знаю ее.

Расскажу, расскажу, конечно, поскольку уж повлекло меня на разговор, поскольку овладел я вашим вниманием. Но вы погодите. Подлинные истории редко выглядят подлинными. Прошу воспринимать и мою эдак с прищуром, как бы с допуском. Мне же, конечно, сподручнее излагать ее без прищуря, без оговорок, которые

только отнимут время и запутают рассказ. Но вы ни за что не забывайте о припуске. Вот и ладно, вот и хлебно.

Начну я с фантастики. Те молодые люди решительно разграничили ее на научную и волшебную. Разграничили и сошли с поезда, мы же едем спокойно дальше и соображаем, что любой волшебный сюжет легко можно привязать к фантастическому. Ишь как они смеялись над оборотнями и домовыми из деревенских рассказней! А если мы их примем за народный вариант научного сюжета о пришельцах, которые живут, скрываясь или маскируясь, среди нас?

Ну а теперь поближе к моей истории. Не припомните ли сказку немецкого писателя Гауфа. «Карлик Нос»? Вот, вот. Там все дело в былинках, вернее — в запахе каких-то растений. С героем сказки происходят превращения, как только нюхается он этих былинкок. От одного превращения до другого — время, хоть карлик и ищет свои былинки, да находит не сразу. По Гауфу. По физиологии же, весьма возможно, нужна пауза, чтобы организм приготовился к очередному превращению.

Вот так акробатика — от сказки прыжок в науку! Минуя фантастику? Что ж, история моя и это позволяет. Укушенная змеей собака убегает в лес, чтобы найти соответствующую травку. Находит — и смертельно больная собака превращается в здоровую собаку. Конечно, считается, что собака наедается травы, а не нюхает ее. Но ведь неизвестно, как влияет на собаку запах травы, что, если собака разжевывает ее для большего аромата? Опять хлебно?

И почему это наша всемогущая наука до сих пор всемогуще не расклевала ничего про травку, не сходит-ся ли она для человека? Но даже, допустим, найдут ее, вырастят, но как найти, вырастить те запахи, которые воздействуют на организм собаки, пока она носится по лесу, их дозировку и очередность. Никто другой — са-

ми ученые втолковали нам, какой у собаки нюх. Симфонический!

Вы небось ждете, когда же это начнется его история? А она давно началась, ведь в ней все зависит от подхода, обставы. Мы же сейчас расчищаем площадку для действия и ставим вроде декорации, освещаем их поярче.

Время же прошлое. Староверские скиты. Раскольники, взыскающие истины. Именно, ладно: «В лесах и горах» Мельников-Печерский. Снова подчеркиваю: в горах. Такие вот места были и у нас, а у наших старцев издревле сложилась вроде как мода — помирать в одиночестве, в глухомани, в заприимеченной тайком пещоре — пещере. Старухи при внуках помирали в деревне, а старцы уходили в горы. Был старик и вдруг пропал, поглядят только — обрядился или не обрядился. Если обрядился — значит, царствие ему небесное, не искали, не звали — привычное дело.

Пещеры в наших сибирских местах никто не переписывал, и сейчас, если поискать, найдутся новые. Потому ли или по чему другому, но не обнаруживали старческих останков. Хотя вот неизвестно, чьих детей в наших лесах-горах обнаруживали не раз. Причем только мальчиков. Двух, можно сказать, возрастных категорий. Либо лет десяти-двенадцати, либо лет трех-четырех. Маленькие были как звереныши, кусались, рвались убежать и меркли — никто из них не остался в живых. Те, другие — постарше, тихие, вроде немые, приживались. От них у нас по деревням прозвища: Найдин, Найденов, Найденкин. Но и став людьми, никто из них не помнил своей истории, по крайней мере, не рассказывал никто. Народ грешил, конечно, на девок. Даром что и представить даже нельзя, как это практически.

Одно дело старик — спрятался в пещеру, помер, и, может быть, до сих пор лежит там его мумия. Пещерный режим способствует мумификации. Мощи. Печор-

ские лавры. И это знаете? Ну и славно, ну и хлебно! Я что говорю, другое дело — младенец. В случае старцев пещеры способствуют смерти, в случае с мальцами — жизни? Понимайте так, что нет двух случаев, один это случай.

Да вот уж эдак получается по моей истории. Вы не стесняйтесь прищурки-то, ваше дело сомневаться, мое — рассказывать. И считайте, что наполовину рассказал. Потому как в связях, уходящих, как в туман, в мыслях, которые начинают ворошиться, история-то, мысли требуют ясности связей. К ней я и подвигаюсь, к ясности.

Шла тогда империалистическая война четырнадцатого года, когда старик раскольник из нашей деревни, назовем его Найдиным, понял: пришла пора и ему «в пещоры». Помедли он еще — и не оторваться от лежанки, не одолеть горные ручьи, не вскарабкаться ко входу в пещеру, не отвалить камень, которым заслонил лаз лет тридцать назад, когда заглянул в провал, образовавшийся под ногой на склоне горы, и увидел пологий спуск, посветил факелом — своды в глубине поднимаются, и пещера уходит за поворот, затолкал на провал плиту сланца, другую прислонил, чтобы скат от дождя. Припас пещору на старость. Приглядывал иногда с тех пор. А теперь вот знал: спихнет плиту и поползет на бессрочную лежанку. Если станет сил, завалит за собой лаз.

Не стало, однако.

Не завалил за собой лаз.

А завалил бы, так и не слушать бы вам эту историю.

Пополз Найдин внутрь горы. Зачем ему свет? Пришел помирать, какое уж любопытство — и сознание-то еле брезжит, и жизнь доводит из последнего. Только обнаружилась бы лежанка, только бы вытянуть ноги. Склон слоями — ребрами, выступами, повороты, не обнаруживается лежанка. Притулиться хоть чуть — и то несклад-

но. Хрипит старик и сползает по наклонному ходу. На крайний случай где сморит, там и ладно. Но охота все-таки вытянуть ноги. Напоследок жизни, а все чего-то алкает человек. Потом старик Найдин ползет уж вне сознания — сколько времени? Куда? Забыл даже и про лежанку-то. Но она как раз тут и есть, словно подстелилась под него. Получается — прибыл? Выходит — конец? Вдруг...

Да уж погодите, погодите. Держитесь за прищурку молчком. Не то и я собоюсь, и вам как бы потеря нити. Ни загадки, ни разгадки не обнаружится в моей истории разом. Никаких там противоестественных событий не вспыхнуло, ни явлений, ни видений. Просто старик Найдин вдруг почуял запах.

В молодости когда-то грешил Найдин, нюхал табак. Ему и показалось сейчас, что в голове, как тогда от понюшки, стало яснеть, но без жжения в носу, и с каждым вдохом ширилось ясение. Накатила истома, но не смертная, с потом, который облипает холодом, а с теплом, со слезной зевотой. Сунул старик Найдин кулак под щеку и стал спать на здоровье. Он так даже и подумал: буду спать на здоровье.

И засыпал он с такой же ясностью на душе, как у ребенка, как это намерение спать на здоровье. И с самого порога сна начались у него сны. Снился запах. Счастье запаха, власть запаха, многоцветье и бессмертие запаха. Навряд ли вы сможете хоть отдаленно представить или вообразить, но именно так снилось старику Найдину. Снилось еще, что он помнит этот запах. Во сне и понял — откуда помнит...

...Родник под кустом бересклета. Бересклет в ягодах, значит — осень. Найдин стоял над кустом, над родником, и в его глазах то темнело, то вспыхивало искрами от зубной боли. От боли убежал в сопки с топором, буд-то нарубить жердей на прясло, метался по лесу, и даже жердей нарубил, и таскал за собой охапку до изнеможе-

ния. И знать не знал Найдин, где он, а все не проходил зуб. Остановился над родником совсем очумелый, смотрел, как вскипает бурунчиками песка родниковое дно. Что, если утишить зуб холодом? Только подумал, совсем взбесился зуб — слезы брызнули из глаз. Попятился Найдин от родника, но тут же с отчаяния пал на колени, зачерпнул из родниковой чаши сложенными ладонями ледяной воды и опрокинул все на зуб.

Опомнился, видно, уж далеко от родника: ломился сквозь чапыж с водой во рту, с жердями на плече и с блаженной легкостью — зуб-то не болел! Да так, будто не болел никогда! Сжимал губы, чтобы не упустить ни капли воды, и ломился напрямик сквозь чапыж. И было ему наплевать, что не знал, где он и куда ломится. Через час или побольше луна взошла, кончился чапыж. Выдрался из него Найдин — видит: знакомые места, хоть и далекие. За полночь дотащил жерди к дому, а воду за щекой не донес. Не проливал, не глотал, значит, подумал, впиталась в меня. Пощупал с опаской языком зуб — никакого дупла, целый. Все остальные зубы не болели с тех пор и уцелели до самого этого печорного дня. Так вспоминал старик Найдин во сне — сразу, в единый миг нарисовалась картина со всеми подробностями. Но главное — запах. В родниковой воде был растворен незнакомый, удивительный аромат. Несколько дней потом Найдин ловил его, прикасаясь языком к небу. Нынче он опять почуял его в пещере, вспомнил все во сне: и то, что много раз потом разыскивал живой родник под кустом бересклета, но так и не мог разыскать, вспомнил и то, что некоторые путают плоды бересклета — висюльки оранжевой и светло-лиловой мякоти, из которой торчат черные глянцевиые зерна, — с цветами, принимают плоды за цветы. Цветы же у бересклета по веснам маленькие, незаметные, зелено-коричневые, единственное украшение — каемка на лепестках вроде золотой или бронзовой. Вспомнил, кто путал и когда. Учи-

телька спрашивала у него, когда был парнем, и про бересклет, и про другие растения. Давала ему их в руки, брала из его рук, не сразу отнимала свои руки и даже немного касалась плечом или еще чем. Ему бывало и неловко, и непонятно, как это учителька знает меньше, чем он. Но теперь в одно мгновение вспыхнувшей во сне памяти Найдин еще и понял то, что не понимал парнем: учителька, возможно, и притворялась, будто не знает, возможно, и он, Найдин, не совсем верил ей, а поддерживал разговор из-за волнения, которое поднимали в нем касания учительки. Как-то краем он осознал, вспомни это на его месте другой, глядишь бы, и пожалел об упущенном. Учителька — барышня. Всякому лестно бы с барышней, как в песне. В нем же не было сожаления. Ведь он вспомнил аромат живой воды, снова чувствует его. И другой, про которого ему подумалось, что пожалел бы, не стал бы жалеть, узнай он, почувствует этот аромат. Но мелькание воспоминаний, озарений, открытий оттеснялось готовностью проснуться, необходимостью оборвать сон, и вместе с готовностью немедленно проснуться настойчиво укреплялось еще одно воспоминание — о татарине, которого он и теперь называл татарин, называл про себя в своих мыслях, хотя уже знал, что по прежнему своему невежеству не отличал татарина от таджика.

Участочек памяти с ноготок, а сколько всего в нем. Психологи учат нас примерно так: память состоит из запоминания, хранения и воспроизведения информации. Память состоит из запоминания! Вот так объяснение! Отчего подкалываю науку? А оттого, что увлекается категоричностью в своих определениях, отсекает поиски. Содержалось бы в определениях немного от сомнения или раздумья, глядишь, и открытий было бы больше.

И еще про память. Найдин много всего вспомнил по краям от главного. Как он привычно поправил за поясом топор, падая на колени у родника. Куда распреде-

лил жерди и что среди осинок, срубленных им, оказалась рябинка, которую он подкосил, уж совсем очумев от боли, — никогда не трогал рябин. И виделось все явственнее и далеко вглубь, стоило лишь взглянуться. Но Найдин, как только вспомнил татарина, проснулся от голода. Такого голода, такой мощи он не испытывал со времен учительки. Голод поднял его на ноги и повел, повел в пещерной темени на запах.

Татарин-таджик, забредший в их сибирскую деревеньку, рассказывал тогда о пещерном цветке с луковкой, который вырастает в недрах гор, где есть смола-мумие и источник. Татарин называл цветок по-своему, по-таджикски, но Найдин окрестил его мысленно пещерным чесноком, потому что луковица по виду и по запаху должна походить на чеснок. Таджик говорил «щенснук». (И сейчас в запахе чудилось немного от чеснока, и тогда — в родниковой воде.) «Кто съест луковицу, начнет вторую жизнь; тот излечится, кто напьется воды с корней». Вот и пристегнулся таджик в памяти Найдина к запаху живой воды, вроде как под псевдонимом — татарин.

Голод толкал: разыщи, старик Найдин, луковку, съешь, старик Найдин, луковку. Найдин шарил руками по стенам, полу, раздувал ноздри, определяя, откуда тянет запахом, полз, и вставал, и опять полз. Нашел. Действительно, около горной смолы, рядом с еле-еле сочащимся источником торчал стебелек с луковкой. Оторвал Найдин луковку от камня, стараясь не раздавить, скрюченными пальцами потащил ее в рот. Разгрыз «щенснук» и обомлел от неожиданности — потекло по крови старика Найдина тепло волнами, с каждым глотком по волне, потом — жарким потоком. Откачнулся Найдин к стене, прислонился, а по нему струится жар, смывает его со стены и смывает — такое у него ощущение. Вот уже по нему, лежащему, катаются словно угли и жгут, и радуют, и усыпляют. Просыпался узнать, катаются еще?

Радовался углям и снова засыпал, может быть, сотни раз, может быть, тысячи. Только все меньше сознавал Найдин себя стариком и даже Найдиным, все больше чувствовал себя лишь телом. Тело брало над ним, прошлым, полную власть, тревожило и мешало радости. Телу уже не хватало углей, не хватало сна, хотя оно и продолжало поглощать их, оно требовало еще и действия, но прежде всего, чтобы отступило, покорилось сознание, чтобы совсем не было его слышно телу. И тогда тело проснулось, оторвалось от углей, вытолкнулось из лохмотьев — это стариковские одежды истлели, вон сколько прошло! — само крохотное, голое, младенческое. И у него уже не было и следа духовного сознания, были только физические или, хотите, биологические жажда и ужас. Жажда добыть, достичь, поглотить и ужас перед неизвестностью среды, грозящей отовсюду роковой помехой, пресечением действия навсегда. Жажда существования и ужас перехода в небытие. Насильственного перехода. Ужас — пружина, жажда — сила, сжимающая пружину. Тело передвигалось чутко и неслышно, тянулось к чему-то, вздрагивая, озираясь, молниеносно шарахаясь, когда срывалась пружина. Однако двигалось, понукаемое жаждой, в дрожащем напряжении к цели!

Все-таки духовное-то сознание, видимо, теплилось. Хоть не в силах повлиять, изменить, но есть. Как, скажем, свидетель-паралитик. Может быть, и не запомнит, а в какой-то момент видит, следит за своим телом, словно за тенью в тумане. Лижет, значит, нашло наконец — проносится в равнодушии, но ужас сотрясает даже такое парализованное сознание, только бы дали долизать! Валется, трется, катается — в тумане вспышка: только бы не помешали, только бы доваляться! Тело крутится, внюхиваясь, — дайте донюхаться! Там. Там. Пахнет оттуда, только бы добежать. Схватить, кусать, лизать, нюхать, вдыхать. Успеть.

Так и собака, укушенная змеей, ищет того, что требует больное тело. Если остановить тогда собаку, не дать ей найти, успеть понюхать, пожевать, помешать ей переродиться из смертельно больной в здоровую, сдохнет же собака.

То тельце, что выползло из стариковских лохмотьев, выглядело замороженным ребенком трех-четырёх лет. Оно бегало на четвереньках и само собирало в себя средства для перерождения. Разве тот, кто, завидев такое тельце, не пожалев никаких сил, чтобы непременно спасти ребенка, поймав его, поймет, что губит жизнь на пороге ее перехода от остатков старой к всецело новой? Даже не заподозрит. Неминуема поимка тельца — убийство спасением, попадись оно на глаза человеку. Отсюда и ужас перед помехой. Не от духовного сознания, от биологии. Биология человека каждой клеткой знает, что и когда получит от другого человека. Не знает лишь сам человек. Но тельце знало и, сотрясаемое ужасом, успевало. Успело оно без помех и вернуться в пещеру к знакомым запахам смолы и «щенснук», и к воде. Лизать-спать-жевать-спать-пить, лизать-спать... Бесконечно. Но в пещере зато затих ужас. Полагаю, что равный биологический ужас должно испытывать тело приговоренного к палачам.

Когда в деревне, в той самой, откуда ушел старик Найдин, появился немой мальчик лет двенадцати, шумела гражданская война. Доставалось всего и нашим глухим местам — беженцы, бандиты. Приютили парня, назвали Найденкиным. Впоследствии пристроили в детский дом. Немой, немой, но постепенно стал говорить и так же не торопясь влился в русло нормальной жизни. Второй жизни. Вспомнил проблесками, как отдельные картины. Особенно весь печорный день. От и до... От и до...

Ну вот, въезжаем в сопки, видите светлые потеки или вон, вроде извилины? Верный признак пещер.

Я отчего напирал: в горах да в горах? Почему неизвестно чьих детей находят все больше в горах, все больше мужского пола. И никогда не узнают, чьи они. Грешат на тамошних женщин — родили, отнесли в лес, а выкормила волчица. В Индии, Индонезии, как раз там, где в детях души не чают, как раз там, где полно бродячих мудрецов, предпочитающих уединяться и переходить в иной мир тоже в одиночестве. Пещеры-то там, где и горы.

И еще необходимо — о детскости. Куда она девается у трех-четырёхлетних найденшей? Почему они не приручаются и умирают, так и не став людьми. Говорят, волчье молоко. Волчата же не теряют детскости, легко приручаются, а человеческое дитя не приручается? Но в науке-то утверждение, не подкрепленное экспериментом, — ноль. (Ну, волчье молоко, например.) А поставить его кто же даст над новорожденным? Хотя жизнь ставила эксперименты на выживаемость и с козьим молоком, и с овечьим, и без всякого молока, на тюре выхаживали детей. Да, рахит, да, болезни, но была же в этих несчастных детскость?

О, вот и свет зажгли, договорились до ночи. В одночасье стемнело в горах-то, а еще лето. Что ж, будем спать на здоровье. Кто сам рассказал? Ах, Найденкин. Тут дело тонкое, но можно считать, что сам. Он-то? Жив, жив. Ровно столько, сколько мне, из одного как бы детского дома, однако.

Случился этот разговор, которому я придал теперь форму монолога, несколько лет назад в жестком купейном вагоне. Как мне показалось тогда, протекал он легковесно. Видимо, у меня самого было легкое настроение, и я слушал своего попутчика, о таких говорят — неопределенного возраста, не то шестьдесят с чем-нибудь, не то за семьдесят, не только по его совету, с при-

щуркой, но и с явным недоверием, посмеиваясь про себя.

Под утро его поднял проводник: «Пассажир, просыпайтесь, через четверть часа ...овая. Пассажир...» За окном едва-едва светало и скользили все те же горы. Я уснул до солнца, до равнины.

Непонятно почему, но вспомнился мне печорный день не сразу же, как я услышал о пойманном в лесу, в горах, трех-четырёхлетнем мальчике, который так и умер зверенышем, а много позже. Непонятно, почему память не сработала на название станции «...овая», ведь его упоминали в связи с этим происшествием не один раз.

Может быть, название подставилось, когда память реконструировала все в одно мгновение, — подставилось, на самом же деле проводник называл тогда, на рассвете, совсем другую станцию? Но если и не подставилось, а так и было «...овая»? Что из этого? В конце концов, ничто не меняется ни в том, ни в другом случае. Все равно в каждом человеке светится до самого конца надежда прожить еще раз сначала. Если б не было такой возможности в природе, откуда бы взялась надежда.



ПРИКОСНОВЕНИЕ БРАТЬЕВ

Ни с чем другим, как с подкидыванием детей, и не найдешь сравнения. Ведь нужно, чтобы ребенка обязательно заметили, а того, кто подкидывает, нет. И не догадались кто, и не нашли ни по каким следам. Но в то же время чтобы отпали сомнения: подкидыш! Как одна копейка. Если еще довообразить, что подкидыватель совершает этот акт не страдая, а вроде бы с оттенком веселья или, может быть, даже ликования, и вы это подсматриваете, подслушиваете или вас допускают подслушать, — получится точно мой случай.

Я стоял, опираясь на вставленные под мышки, как костыли, лыжные палки, и, казалось, не было ни перед кем в мире красивее пейзажа, чем передо мной в тот момент. Март. Безоблачно, безветренно, пронзительно солнечно, и все застыло, сделав вдох перед тем, как в

восторге сломя голову броситься в весну. Вот-вот. Стоишь и ждешь, и тоже готов распахнуться, взлететь, мчаться, а сам словно связан истомой.

Тут-то я и почувствовал, что мне подкидывают мысль. И, как я говорил, подчеркнуто, чтобы не было сомнения, что подкидывают, и весело, с ликованием — для того, дают понять, чтобы я не пугался, не принял болезнь. Больные сплошь и рядом слышат голоса, которые приказывают, зовут, заставляют, и все зловеще, в страхе, ужасе. А тут вроде бы милые шутки и будто бы приглашение к общению. Благожелательно, ласково, но и отчетливо извне, как одна копейка. Извне, извне — улыбаются. Ну, понимается мне, что с улыбкой или еще с чем-то совершеннее улыбки. Издалека, издалека — подтверждают, не успел я спросить, только нацелился. Догадаешься — прямо лучатся ликованием. И уж в самом деле мне и так ясно, вытекает из подкинутой мысли. Но почему же ее подкинули мне, а не кому-нибудь из ученых, которые совещались в Бюракане? Потому, хохочут, это мне представляется, что хохочут, по пульсирующему ликованию, по моему радужному состоянию, по небесной голубизне, по снежной искристости, по красноватым стволикам молоденьких лип на солнечном склоне у меня под ногами, потому, что тогда бы был явный контакт, а побратимка-то не выросла... И опять щекочущие волны ликования.

Вот с этой побратимкой, каждый раз, когда рассказываю, не хочется мне повторять, уж очень выглядит не у места словечко. Тем более слов как таковых мне не слышалось, не запечатлевалось. И пробовал избегать, но как-то терял что-то без побратимки, как будто и ее подкинули ключом ко всей мысли.

А почему бы, вопрошаю, и тоже так шутя, почти заливчати, вам эту мысль не всадить в ту же ученую голову без указания адреса, будто родилась сама? О! — отвечают, как мне показалось, с грустью даже, и демон-

стрируют: люди трясут мозгами, отгоняя неподходящие, по их мнению, мысли, особенно ученые. Повторяю, мозгами, и мне показали, видел, хотя и не могу объяснить удовлетворительно. Трясут, мысли отскакивают, отгоняют их, как мух кони. Возможно, силовым полем. Ну а я? Со мной можно? Ведь тот же контакт. Хотя я и без ответа понял, что не тот же, а лишь тень контакта. Допустим — буду толкаться всюду, утверждать: со мной вступили в контакт! Чего добьюсь? Неправдоподобно, что со мной, а не с учеными, которые контакта жаждут, ищут, просят. Маньяк, скажут, а кроме того, меня и не уполномочивают те, что пульсируют ликованием, улыбаются моим состоянием. Не уполномочивают действовать в лоб. Просто мне подходит довести, рассказывая, полусхитрить о подброшенной мысли, не забывать употребить побратимку, и все... Мысль будет жить уже в нескольких людях, а значит, и в человечестве, как бы с легким флером своего происхождения извне, отнюдь не достоверным, никого и ни к чему не обязывая, пока... но я сам не знаю, что пока.

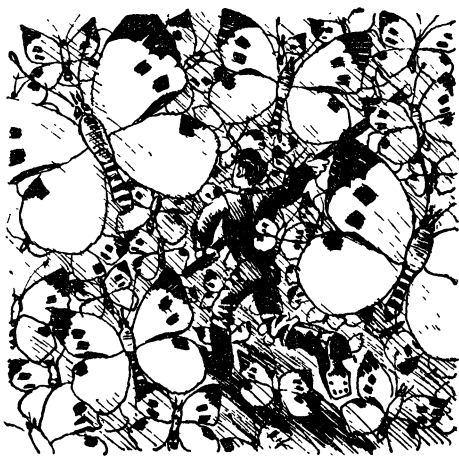
Собственно, и мысль, которую мне подбросили, ничего засвидетельствовать не в состоянии. Она могла быть высказана и раньше, и даже в том же Бюраконе, только не принята во внимание, и практика противоположна тому, к чему и к каким выводам эта мысль направляет. Вот ее содержание. Если человечество понимает, что оно не одиноко разумом во вселенной (ведь природа не терпит исключений), то оно способно понять, что есть во вселенной разум и несоизмеримо высшей организации, располагающий несоизмеримо совершеннейшими средствами коммуникации, и не нужно соваться к нему, заявлять о своем существовании, если не выросла побратимка.

Говорим же мы дома своим младшим: рано тебе, вырастешь, сам узнаешь, а пока нос не дорос. Так и надо понимать побратимку. Необходима глубинная

упрощенная народность, языковая связь с корнями общества, чтобы ощутительней задевала мысль. Это я додумывал уже после, самостоятельно.

Тогда же, пока съезжал между молоденькими липами по склону, мне слышалось пульсирующее ликование, и затухание его длилось долго-долго. Может быть, несколько дней. А улыбка осталась, думаю, навсегда, потому что я чувствую ее в себе постоянно, особенно когда не верят моим рассказам, не верят, что нужно ждать, расти и становиться достойными доверия, способными не отмахиваться от непривычных мыслей и, главное, не лезть непрошеными в браться со своими младенческими погремушками.

Конечно, я никого не могу убедить, что все так и было, что только так и следует поступать. Но ведь я и не уполномочен. Да мне и ничего больше не нужно, раз во мне живет прикосновение братьев — их улыбка. Как одна копейка.



ДОСТОВЕРНЫЕ КАРТИНЫ ЛЕСНОЙ ЖИЗНИ

Сначала я и названия хотел давать подробные. Про случай, вследствие, или там по причине, которого треснула чугунная сковорода, будучи на речке, например. Только такие названия во много слов с запятыми даже Лев Николаевич Толстой не ставил никогда. Поэтому я в окончательном виде избрал названия, как у него, — «Анна Каренина», «Война и мир» — в одно слово. «Паводок», «Масло», «Объяснение», «Кружево», «Сковорода»...

МАСЛО

Недоверие к моим случаям? Как и откуда оно берется, да еще у самого близкого мне человека, моей жены, многолетней спутницы жизни? Сколько я ни размышлял, но четкости не было до тех пор, пока не прочел новейшие данные о нервных клетках.

То, что они не размножаются, сколько их есть сначала, столько должно хватить, никаких в дальнейшем прибавлений, только постепенная убыль, — я знал давно. Но вот недавно оказалось: главная убыль нервных клеток — отмирание — происходит чуть ли не в младенчестве. На протяжении каждых двадцати лет жизни отпадает около восьми процентов нервных клеток, а в первые годы формирования организма в несколько раз больше. Объяснение тому не совсем определилось, ученые еще не отоптали целину вокруг нового факта. Для меня же все встало по местам.

Человек рождается с универсальными задатками для жизни во всяческих условиях, для всяческой деятельности и с запасом для этого нервных клеток. Дальше происходит так. Родился в жарком климате: немедленно за работу принялись соответствующие клетки; а те, что предназначены для обеспечения жизни в холоде, потыркались, потыркались без работы и отсохли навсегда. Родился в скотоводческом племени — сразу же активизируются клетки, которые помогут человеку чувствовать животных гораздо лучше, чем человеку, родившемуся у земледельцев, а клетки, которые, скажем, предназначены на случай жизни помора-рыбака, отомрут. Это грубые примеры. В приблизительном изложении. Потому что бывали случаи, когда скотовод из степей становился в ходе жизни и земледельцем и мореходом. Все гораздо тоньше. Отмирают-то или активизируются сверхспециализированные клетки, которые обеспечивают интимнейшее слияние с данной средой

или данным родом деятельности. Мы, люди, давно это знаем и говорим про одного: это прирожденный чабан, он родился моряком — про другого.

Теперь про нас со старухой. Я родился на лесном кордоне, где родились отец, дед и прапра тоже. Никто из них да и я сам не отлучались из леса надолго, особенно в детстве. Можно представить поэтому, что ни единая клеточка, которая нацелена на лесную жизнь и деятельность, в нашем роду не отмирала, а, наоборот, как и положено нервным клеткам, обучалась и обучалась до бесконечности. И даже, я допускаю, передавала усвоенное, хотя это ей наукой и не положено, по наследству. Но по женской линии связь с лесной природой не достигала такой полноты. Жен себе предки брали со стороны, уходили из лесу их дочери.

Старуха моя родилась далеко отсюда в большом селе, теперь это райцентр, а в лесу впервые побывала лишь в девичестве. Сыновья наши покинули лес очень рано и на кордон, по всему видно, не вернутся для постоянного жительства. Те нервные клетки, которые у них активизировались в детстве, начали уже по восьмипроцентной норме отсыхать, как я замечаю при их наездах, и нет уже у сыновей со мной понимания. Жена постоянно у них гостит, и то хотя бы внешнее понимание природы, которое получено от меня, у нее тускнеет с каждым разом.

Хотя вот так прямо, в лоб, «чушь» или «враки» она еще не произносила, но недоверие мелькает и во взгляде и в жестах, а то поежится вроде с озноба или прижмет руку тылом к губам. Кроме того, взяла в обыкновение приводить услышанное от меня к какой-никакой другой причине. И получается у нее намек, что я вроде бы прикрываю рассказами о случаях свои упущения, нерадивость или забывчивость. Масло, мол, позабыл сбить, вот и вышло такое объяснение про случай.

А я ведь и не все рассказываю, что было, что чув-

ствовал, оставаясь благодаря обучившимся нервным клеткам неразрывной частью окружающей лесной природы. То не передать никакими средствами, только можно пережить в своем потомственном соединении с лесом без всяких оформленных образов, даже в мыслях. Вдруг осеняет: колупну шишку, и произойдет так, согну ветку — этак. Однажды в обходе заметил: из мха лезет шляпка белого гриба, аккуратней некуда, красавец, и пространство кругом вольное. Тут же мне представляется, и я исполняю — от корней соседнего дуба отгибаю мох, напротив, между осиной и кривой березой, вколачиваю кол из сухого валежника примерно на метр с четвертью. Не знаю еще, зачем сделал, как осенило, потом уж дал себе отчет, что произвел воздействие на грибницу этого боровика, которая находится в симбиозе, с одной стороны, с корнями дуба, с березовыми и осиновыми — с другой. Про симбиоз я называю по книгам, чтобы понятнее вам. На самом деле там ох как почуднее. Постепенно догадываюсь и о результате. Кто занимался садоводством или слышал — есть такой прием: на плодовом дереве с образовавшимися завязями ствол ниже сучьев охватывается обручем, который стягивается специальными болтами. Тогда питательные вещества, накопленные листьями, не будут спускаться по лубяным волокнам к корням, а попадут в завязи — ни одна из них не опадет, и плоды созреют быстрее, крупнее, слаже. Подобное действие я произвел с грибницей.

Через двое суток никакого там вольного пространства не осталось: ножка гриба с одной стороны касалась дуба, с другой — упиралась в осиновый и березовый стволы, а шляпкой в их нижние сучья. Полный же результат — без малого центнер сушеного белого гриба.

— Что засушил — хорошо. Но уж накромсал по-уродски. Зачем это? Опять небось случай? Не узнаешь, где шляпка, где ножка. Не дождевик ли?

Я не объяснял, не доказывал, решила практика. Сварили раз, сварили два. Суп — объединение. Икра — еще лучше, или грибной паштет — по-кулинарному.

— Вот что, ты больше эти грибы в дело не пускай, я их детям повезу на гостинцы, — приказала старуха.

Два года возила. Остатки отправила совсем недавно по почте.

С маслом этим я тоже не хотел объяснять и доказывать, проговорился невзначай, возможно, и сгоряча. Когда пристанут — почему да отчего, а заранее придуманного ничего нет, поневоле скажешь правду. Хотя потом и будут передерг плечами, как с озноба, недоверчивые взгляды и прикрывание губ тылом ладони — в конце концов правда есть правда.

Началось тогда с самого утра. Проснулся на восходе, накачал из колодца воды, а сам прислушиваюсь к какому-то внутри себя беспокойству. Ствел корову пастись на край ельника, двинулся в обычный маршрут: от Алешкиной засеки через Лыкодер, Мачтовик к Подсочке. И только когда прошел Лыкодер (там когда-то с лип драли кору на лапти, рогожи, а теперь уж не только про лапти никто не помнит, самих лип давно нет, но название живет), только после Лыкодера разобрался в своей печали. Получалось, с утра я беспокоился из-за медвежат — в ночь они появились у медведицы, и что-то с ними неладно. Чтобы вы поняли, осенило меня, значит, в очередной раз: и что медвежата, и что неладно, и что именно в эту ночь, когда я спокойно спал у себя на кордоне. Где берлога, я тоже лишь чувствовал примерно, приблизительно, в каком урочище.

Заканчивал обход, потянуло взглянуть на корову, хотя загонять ее еще не время, просто подчинился побуждению. Подходил опять-таки по предчувствию, как подходят к диким животным, навстречу ветру.

Настолько странная открылась картина, что я даже и неправильно оценил — медведь нападает на корову.

И чуть было не свистнул, чтобы отогнать зверя. Спасибо, сразу помутнение ослабло — правильно сработали нервные клетки. Медведь-то сидит, корова-то жует серку — в наших местах так жвачку называют, — вон опять прокатился у нее комок по горлу от груди к голове, и опять начала Красавка спокойно жевать, глядя печальными глазами на медведицу. Так и есть — та самая медведица. И будто они разговаривают, и будто договорились, закончили беседу; медведица поднялась, потрусила в ельник.

Я не шелохнулся, и будь здесь кто другой, даже без потомственной сжитости с природой, и тот бы понял: обязательно жди продолжения.

Медведица, словно у нее все было подготовлено заранее, вскоре так же вразвалку вернулась из ельника с медвежонком, которого она волочила за шкуру. Красавка, как только их увидела, опустилась сначала на колени, потом, приловчившись, легла, выставив вымя вбок и вверх сосками. Медведица ткнула медвежонка к вымени, проследила, чтобы он припал к соску, и только потом пошла за вторым топтыжкиным. Вот она, печаль-то какая, не было у медведицы своего молока.

— Ну где же масло-то, месяц я в отъезде, сколько за это время Красавка надоила! Где масло?

Не хотел я объяснять, что весь месяц ежедневно выводил Красавку на кормежку медвежатам, что и медведица уже меня не дичилась, что с вечернего удоя мне едва хватало молока на кашу. Но когда ничего не придумаешь заранее, а тебя донимают: «Ну почему ты молчишь? Почему?» — невольно брякнешь правду.

Насчет же пожимания плечами, как от озноба, можно понять и так: от сомнения в своем недоверии. Не верит, сомневается в моих рассказах жена — и ладно, спокойно ей. Но иногда вдруг прояснится у нее вопрос: а что, если он именно так и видел, так и было на самом деле? Тогда ее неосознанно охватывает состояние уда-

ленности не только от природы, но и от меня, от моего охвата жизни. А разве потерянная не может продрать морозом по коже?

ПАВОДОК

Скрипела у нас в сгорожке дверь: то свиристнет, то заверещит, то будто подскуливает, а то зальется жеребеночком. Я специально слушал — отворю дверь и тяну потихоньку, потом быстрее. Старуха придет — удивляется: кто выстудил избу?

Ей, конечно, дверная музыка быстро надоела. Смажь да смажь. Я и мазал. Пуд сала извел — кругом измазал, кроме одного места. А когда старуха вычитала про аллергию, пришлось смазать и это место.

Как раз из-за этой смазки и получился случай.

Пошел весной паводок. Старуха в деревню перебралась, я живу на кордоне один. Кругом вода. Проснулся однажды, открываю дверь, а идти некуда — водяная стена во весь дверной проем до притолоки. Только сальная пленка сдерживает воду. Сквозь сальную пленку смотрит на меня из воды сом, рядом с ним топырится щука. И оба норовят проткнуть пленку. Щука действует мордой, сом — усами.

Один сомовый ус проткнулся, в дырку жиганула струйка, а по всей пленке образовались трещины. Еще чуть-чуть — лопнула бы пленка. В самый тот момент я прихлопнул дверь и подпер ее спиной.

Держу дверь. В окнах за стеклами тоже зеленым-зелена вода, и я в избе как в подводной лодке. Дверь трещит, давит на спину жерновом, ноги дрожат. Сил нет держать, а держу. Вошел в какое-то оцепенение, перед глазами круги, в голове звон. И вдруг все потемнело.

Очнулся я от легкости и света. Солнце к вечеру — озолотило печку. Тихо. Только за дверью, чуть повыше порога, тренькает вода.

Я как стоял, так и сполз спиной по двери на пол. Из-под двери что-то торчит, не пойму. Потрогал — сомовый ус.

Схватил я острогу и из окна по завалинке к крыльцу. Там воды осталось пальца на два. Сомина черный, здоровый, еле ворочается. Рядом с ним щука. Она то пихнет сома, то дернет за хвост. Вроде бы и просит: айда отсюда! Вода совсем сходит, а щука не уплывает, все пытается утащить сома. Вдруг сообразила: змеей подползла к порогу, разинула пасть и хамкнула по прищемленному усу. Сом подпрыгнул и в воду, щука за ним, и поплыли по поверхности вдаль рядом, как лебеди.

Я стоял на завалинке с остройгой. Они уже скрылись, только тогда я заметил, что стою с раскрытым ртом.

Я бы всю жизнь молчал про это. Но года через два ночевал у меня знакомый из рыбацкой бригады, он подтвердил одну мою мысль.

Облавливала их бригада Митрюхинский плес. Вытащили за одну тоню видимо-невидимо всякой рыбы. Леши с противень, метровые судаки, пуды всякой бели и, кроме того, сом, а уж потом щука.

Рыбак так рассказывал:

— Начали мы крылья сводить, эта щука, дуй ты, через крыло вымахнула. Да. Ушла. Но только мы улов в челны сложили, она тут явилась сама. Прямо, дуй ты, сиганула в челн. Да.

Он всегда не торопясь говорит. С созерцанием.

А дело было вот как. Сом в челне прижали баграми. Он по борту хлещет хвостом. Хлестнет, будто подождет немного ответа, и еще хлестнет. Вдруг около челна — бултых — выскакивает щука, ударилась об челн. И так до трех раз.

Сом — хлясть, щука — бултых. На четвертый попала в челн. Ее хотели тоже прижать баграми — не давалась. Думали, уйдет. А она подкатилась к сому и

затихла, и сом не бил больше хвостом. Лишь хотел повернуться к щуке мордой, но голову ему не пускал багор. Так они и заснули рядом.

— Сом-то, дуй ты, был культяпый, без одного уса. Да.

Вот я и думаю, что и сом и щука были те же, а еще после этого я часто думаю о чувствах.

До того иногда задумаешься, что старуха не вытерпит, спрашивает: зачем это я рот раскрыл, и грозит, что как-нибудь положит в него чапельник.

ОБЪЯСНЕНИЕ

Очень меня поразило последнее открытие нейрофизиологов. Чудеса открываются для людей, если, конечно, сделать правильные выводы и начать соответственные действия. Я уже объяснял, что открыто: нервные клетки человека начинают отмирать вскоре после его рождения. И в больших количествах, чем за всю последующую жизнь.

Причина-то для меня совершенно очевидна, поскольку я никогда не отрывался от природы, все в ней могу объяснить, когда мне представляют определенный факт. Конечно, я и сам могу до любого факта докопаться, но ведь их бесчисленно в природе. Какой из них интересует науку, я сам не угадаю нипочем. Объяснить — другое дело.

С нервными клетками? Очень просто, и я уже частично объяснял по поводу одного случая, но косвенно. Теперь обдумываю, как написать напрямую соответствующее письмо в академию или статью в энциклопедию. Склоняюсь даже больше в пользу энциклопедии, чтобы стало известно всем и сохранилось навсегда.

Человек рождается, чтобы стать всемогущим или всевладеющим — вот что значит этот огромный запас

нервных клеток. Только они должны сразу же вступить в дело, такой у природы принцип: что не нужно, то вскоре отмирает. Человеку же все нужно, только он не умеет сразу ко всему подключиться сам, а родители то ли разучились, то ли еще не научились этому подключению. Теряет свое могущество человек еще в пеленках. Вот я сказал, а вам кажется неубедительным, человек-то, дескать, и там всемогущ, всем овладевает. Правильно, овладевает. А за счет чего? За счет перегрузки, перетренировки, универсализации оставшихся нервных клеток.

Для понятности пример: чем взрослее человек, тем труднее ему научиться плавать. Нужно научить нервные клетки, командующие ходьбой и бегом, командовать плавательными движениями. Младенца же положи в воду, он поплывет. еще не научившись ходить, — теперь об этом достаточно широко знают, и если с ребенком разговаривают на нескольких языках, он усваивает их без труда, играючи. Значит, в том и другом случае вправе мы предположить: вовремя подключились и стали работать соответствующие нервные клетки, которым обычно одна дорога — отсохнуть.

До какого предела могут они отсыхать — противоположный известный пример. Попал новорожденный человек в волчье логово, выкормлен волчицей — никогда не обретет разума. Погибли все его нервные клетки человеческих способностей, всеумения и всемогущество.

Вот я о чем хочу написать в энциклопедию. Такой задать вопрос и ученым и родителям. Значит, ясно: положи младенца в воду — он поплывет, и выходит, чем раньше положи, тем лучшим будет он пловцом, а если положить младенца в невесомость — какие у него подключатся и не отомрут клетки и какими они будут командовать движениями, какие развивать способности? Вот какой я задам вопрос.

Самое странное, опыты такие случались, я не оговорился — случались. Ставить специально — не ставили, хотя стоп, бывало и специально, но об этом позже. Случалось, младенцы падали с большой высоты, как правило, без опасных для жизни последствий. Чем объясняли? У детей, дескать, кости мягкие! А сотрясение, а сила инерции? Все кости? Видно, и там включались в работу еще не отмершие нервные клетки. Мгновенно!

Но основное внимание в статье я бы уделил случаю, который происходил частично на моих глазах, частично известен от других, а целиком осознан мной только теперь. О том случае, когда ребенка специально помещали в невесомость. И очень простым способом, каким, возможно, и вам довелось там побывать, — в люльке с вертикальной пружиной или рессорной коляске. Только у этой люльки была особая пружина с мягким и длинным ходом — люлька зависала на середине пути на какое-то мгновение и лишь потом взмывала дальше. Изготовил пружину отец ребенка, наш местный кузнец, не так силач, как выдумщик и весельчак. Жена ему под стать, оттого полеты для младенца не ограничились люлькой. Он любил, чтоб родители его подбрасывали и ловили. Мать стоит на крыльце, а кузнец снизу подбрасывает ей ребенка. Взлетит он, и мать не ловит, а как бы снимает его с воздуха, когда он окажется в верхней точке. Это и бывали моменты невесомости. Уж парень стал бегать, а все просился «повисеть над крылечком». Люди говорят, что родители не отказывали ему в удовольствии.

Как он потом на потеху сверстникам прыгал с дерева на дерево или с обрыва в озерный омут — я наблюдал сам. И всегда меня останавливало, что в каждом прыжке он на неуловимый момент зависал, и не обязательно в наивысшей точке. Так бывает в кино или телевизоре, когда останавливают на миг движение и люди или предметы недвижны в пространстве. Только

у него это было настолько кратковременно, что могло просто показаться. Но ребяташки, его сверстники, без ошибки замечали такие остановки — кричали, свистели и просили «повисни еще». Сведения мои обрывочные, я ведь редко выбирался из леса в деревню. Потом кто-то вспоминал, что он проделывал на качелях да на турнике: «Ровно мячик». Самый же показательный эпизод с ним был на войне, когда он сражался летчиком. Считается это совершенно необъяснимым случаем: сбили самолет на высоте больше двух километров, парашют не раскрылся, а летчик остался жив, встал и пошел как ни в чем не бывало, и весьма вероятно, что и не вставал, так как не падал: опустился на ноги и пошел докладывать о гибели самолета. О других подобных случаях сообщали в газетах, там находилось объяснение — попался на пути снежный склон, сугроб, или поддержала падающего летчика взрывная волна. Тут же не было никакого такого объяснения, кроме моего: использованном резерве нервных клеток в результате своевременной и правильной тренировки.

Когда я соберусь и напишу в энциклопедию, обязательно и точно назову все фамилии и адреса. Кроме того, предложу совершенно простые способы сохранения нейронных резервов человека для достижения гармоничного слияния с природой всех стихий, включая глубины вод и кипящий огонь вулканов.

КРУЖЕВО

Сказать правду, я люблю рассказывать про свои случаи. Когда рассказываешь, сам понимаешь: происшедшее каждый раз хоть на чуть-чуть, а глубже, шире. Оттого нарываешься на недоверие: мол, раньше не так говорил — сочинитель ты, не очевидец. Или некоторые считают — вычитал в книжках и пересказываю фантас-

тику. Один даже насмехался, вроде у меня по звездной части сплошной пропуск, тогда как эта фантастика самая модная. Отстаю, значит, от запросов. А не понимает: пересказывать прочитанное все равно что показывать кино на пальцах.

Прочитанное служит для переживания, размышления и установления жизненной позиции. Читал я и звездную фантастику. Подойдет время, поделюсь мыслями, чувствами. Например, о путешествиях на расстояния в световые столетия со сменой многих поколений в звездолете, и что с ними, по моему мнению, происходило, и как можно умозрительно вывести хотя бы о нас, землянах, кто мы такие, о наших предках и об их кораблях с указанием направления поиска следов и свидетельств.

Случай же сразу и не поймешь и не охватишь; его требуется много раз про себя представить, пережить по ступеням. Оттого и тянет рассказать само событие подробным образом, с уточнениями или даже с изменениями.

Но как быть, когда тебе рассказали и ты веришь тому, кто тебе рассказывал, — можно уточнять, углублять, если уже упустил того человека и не получишь от него никакого подтверждения, если слушал тот единственный раз, не вникая, без четкости деталей, если, однако, по прошествии времени выплыл рассказанный случай и стал перед глазами так, словно произошел он с тобой, и если получается, что связан он как раз со следами разума иных миров? Как тогда быть? С одной стороны, этот случай совсем недостоверен, оброс деталями в моем воображении, а с другой — чем больше о нем узнает людей, тем вероятнее возможность, что кто-то найдет или даже знает, где хранится сообщение с таким вот началом: авария на шестой планете ждем авария на шестой...

По-моему, имею полное право и обязан осветить, как я теперь его представляю, случай, происшедший с одним

изыскателем, который рассказал о нем мне. Заехал на кордон переночевать, а сам проговорил почти всю ночь, я, похоже, уснул под его разговор. Много чего сообщил из своей жизни, и не помню, по поводу чего именно привел случай. Косвенно. Может быть, он и не спал совсем. Я проснулся, его уже не было — ни его, ни машины с буровой установкой.

Вероятнее всего, привел он свой случай по поводу отношения к родителям и чистоты, — почему-то у него так совмещалось, связывалось в один узел. С чистотой в самом простом смысле — чистыми половниками, полом, лавками, выбеленной печкой... Кажется, странно. Когда же исходишь из образа жизни изыскателей, их характеров, то получается складно. Ведь когда отвлечешься от ненужных или, скажем, приниженных подробностей и подойдешь с возвышенным пониманием, по этой высокой сути есть в судьбе изыскателя частица от блудного сына. О человеке, уехавшем, например, на далекую стройку, не скажешь такого. Приехал и работает на одном месте до итога видного, осязаемого, почетного. Изыскатель же лишен и оседлости, и какого-никакого сразу заметного итога. Вечный скиталец. У кого нет в крови подходящего микроба, тот не станет изыскателем. Но все же и у самого закаленного романтика дорог, перемен иногда промелькнет в памяти родное и потянет его в покой и чистоту отчего дома. Повторяю, в самом высшем смысле, вроде окутает туман сожаления, глубокого укора себе, что многого недодал родителям.

Вот и у него, моего знакомого-незнакомца, возможно, возник похожий момент, когда, переступив порог, он оказался, по его словам, в нежном бело-розовом мире. После осенней непролазной дороги, изнурительных измерений под мелким дождем вперемешку со снегом, добравшись к ночи в хуторок — два-три строения, толкается в ближнюю дверь, и нате! — бело-розовый мир. Да еще в придачу нежный. Изыскатель настаивал на таком

определении. Все, что деревянное, выскреблено-перевыскреблено, все, что кирпичное, белено-перебелено, половики стираны-перестираны, отдают в розовость. На подоконнике, неожиданные для деревенского жилья, цикламены, тоже белые, розовые и еще нежные розовые пармские фиалки. Будто задержалось там весеннее утреннее озарение. Зоревая нежность исходила и от хозяйки, бело-чистой, очень старой женщины. Замечу от себя, такой совершенной чистоты не добьешься никакими затратами труда и времени. Только у редких женщин она удастся, причем легко, просто и незаметно, само собой, я предполагаю: от врожденной незамутненности души.

Ему вспоминалось, или я теперь так представляю, что она с первых почти слов завела о своей маме. Очень старая женщина, белые-белые седые волосы и легкий, совсем еле-еле румянец, как на пармских фиалках (он ни разу не назвал ее старухой), говорила о маме с девичьей простотой, с дочерней признательностью, как о живой. Все мамины вещи, порядки, привычки, будто не прошло с расставания и года, не то что пятидесяти.

Бывают, конечно, старухи, всем они встречались, будто живут в позавчерашнем, желчные ханжи, ничему не рады. Он их приводил как совершенно противоположное, чем она, черное. Она радостная, легкая, и было ему даже завидно, что у него вот нет такого постоянного негаснущего чувства. Так и потянуло чем-то помочь этой старой женщине, стать причастным к ее чистоте.

И совпало. Находились в бревенчатом доме (он ни разу не сказал изба, хата) начатые кружева на валике с коклюшками — так осталось от мамы. Они помещались на виду, и подчеркивалось, что специально, как самое главное, с чем связывались любовь, память, дочерняя обязанность перед мамой. Не в том, что дочь не доплела кружева. Даже неизвестно осталось изыскателью, умела ли очень старая женщина плести кружева.

Обязанность дочери была в другом—сохранить, а когда придет время, отдать ученому человеку неоконченные кружева вместе с коклюшками и к ним кружевную ось по узлам. Такому ученому человеку, который сам разберется, к чему кружева, зачем ось по узлам.

Совпало. Очень старая женщина приняла изыскателя за доложданного ученого. Тот, конечно, хотя и возникло у него желание помочь, содействовать, не стал обманывать, признался в своем полном незнакомстве с кружевами и кружевным делом. Но она улыбнулась, показала на геодезическую рейку, которую вслед за ящиками с теодолитом и нивелиром втащил в дом рабочий изыскательского отряда, выдвинула ящик комода, извлекла скрученную в рулончик полоску канвы и развернула, развязав тесемку. На длинной полоске канвы пестрели вытянутые в двойную линию черные и красные узелки. Расстеленная на столе полоска словно перекликалась с лежавшей на полу геодезической рейкой с нанесенными на нее черными и красными прямоугольничками делений. Неопровержимое, удивительное сходство.

Однако изыскатель согласился лишь снять копию с канвы — это и была кружевная ось по узлам — на кальку, а за оригиналом и кружевами то ли приехать, то ли прислать, когда, дескать, мы разберемся вместе с другими учеными. Бормотал что-то совсем невнятное, но очень старая женщина ни капельки не сомневалась, наоборот, простодушно ликовала, что выполнила наконец свое обязательство перед матерью, нашла ученого человека, который разберется во всем.

А изыскатель, когда они в кромешной темноте раннего осеннего утра всем отрядом вытащили машину из слякоти проселка в слякоть большака, сообразил, что почевали они вовсе не на хуторе, который значился на карте как «Выселки», и выехали сейчас неизвестно куда, захлопотался до вечера и уснул прямо в кабине. Еще два дня отряд наверстывал упущения, быстро продвига-

ясь по трассе. Было не до выяснения, куда их занесло в ту ночь.

Не то чтобы изыскатель сразу же отказался от своего намерения, нет, он показывал кальку и в кружевных артелях, и художникам-прикладникам — все только пожимали плечами, и выражение «кружевная ось по узлам» никому не встречалось никогда.

Минуло время. Есть такая поговорка: все дороги ведут в Рим. Я же считаю, теперь пора говорить: в ЭВМ. Все дороги ведут в ЭВМ! Привели они туда в конце концов и моего изыскателя с калькой. У вас свое воображение есть, нетрудно по нашим временам представить: встретил приятеля, знакомого, незнакомого в гостинице, в самолете, в поезде, случайно заинтересовал, показал кальку. Своим чередом составили, где нужно, программу, нащелкали соответствующих дырок в толстой бумаге — сами видели в телевизоре или кино, как заправляют бумажные ленты в машины. Ответ же, расшифровка вышла та самая: авария на шестой авария планете ждем авария на шестой... Что соответствовало первым знакам на кальке в первой строчке. Дальше не получалось понятных сочетаний, кроме намека на какие-то координаты в предпоследней строчке.

Изыскатель сразу понял отчего. Он продавливал сетку канвы на кальку не строго над узелками, а как попало, где канва казалась ему почетче. Да еще произвольно разбил непрерывную полоску узелков на строчки. Только для начала он оттиснул канву точно над первыми узелками. Конечно, ему верили, тем более что сообщение получалось составленным по самым совершенным правилам, о которых только начали догадываться, — с избыточной информацией. Не ручаюсь за термины, важно, что верили ему. Но чтобы принять расшифровку за точный научный и достоверный факт... Тут — стоп!

Легла на душу изыскателя дополнительная тяжесть. Он, естественно, клял себя и свою неосмотрительность, торопливость, неустойчивый характер с его постоянной тягой к бродячей жизни. Не зря упоминал я о блудном сыне. И все ему представлялась очень старая белая-белая женщина в зоревом бревенчатом доме, которая ждет не дождется ученого человека. Выходило у него мрачно.

Поэтому я сказал изыскателю: если старому человеку есть чего ждать, он проживет дольше. Светлое не потускнеет от ожидания. Задолжал в прошлом, отдавай настоящему. Не успел — неси в будущее.

Пожилые люди любят повторять расхожие истины. Им сдается, что только у них они звучат убедительно. Есть, выходит, и у меня такая привычка.

Жаль, не успел я спросить у изыскателя, где он оставляет записку, когда, уходя, желает что-нибудь сообщить. А вы? Я, например, на самом видном месте. Разве нельзя сообразить: раз для каких-то надобностей самым видным местом оказались кружева, кружевные узоры, то не стоит ли поглядеть и на другие, тоже заметные — на ковровый рисунок или на архитектурный орнамент. Не ручаюсь за терминологию, но изучал кто-нибудь или нет такие алгоритмы? Что, если не оплошать и нащелкать соответствующих дырок для ЭВМ в толстой бумаге?

СКОВОРОДА

Это уж моя старуха подтвердит: не уродилась в тот год капуста. А бабочка-капустница, наоборот, народилась. Тогда все ходили с палками.

Может, старухи и не было, помнится, уезжала в то лето к старшей дочери. Потому что она потом спорила: «Не к чему, — говорит, — против бабочек с палками!»

А ведь каждая капустница таскала с собой в лапках гусеницу. Вывела детку, питать ее нечем, и таскает. Увидит съедобное, сажает на него гусеницу и караулит,

ощеривается не хуже собаки. Вот все и ходили с палками.

Я же пошел на речку с одной сковородой. Речка у нас под самым домом, за домом лес. Очищать сковороду я придумал такой способ: сначала отмочить, а потом несколько раз резко ударить об воду — весь нагар откакивает. Да еще получается звук. То ли твах-твах, то ли кваг-кваг.

Видно, на этот звук и прилетел глухарь. Шлепнулся на воду, плывет ко мне как чумовой. Я его и хлопнул по голове сковородой, палки-то со мной не было. Глухарь кверху лапами.

Вытащил я его из воды и смотрю — перья дыбом и белеют, белеют: в минуту весь поседел и издох глухарь.

Пуда три в нем было — еле донес. Положил у порога, вернулся за сковородой. А тут впору самому посесть — треснула сковорода.

Старуха меня предостерегала: смотри, разобьешь своим способом сковороду — прощай, живи в лесу один.

От проклятый глухарь! Не помню, сколько я просидел над сковородой, но потихоньку сообразил: раз сковорода треснула не от способа, а от глухаря — старуха должна простить.

А что, если не поверит? И опять сажу над сковородой. Капустницы все небо застлали, а от их крыльев как пыхтение паровоза на станции чшш... чшш... тут меня и осенило:

— Чучело! Нужно набить из глухаря чучело!

Бросился я домой, бабочек распахиваю локтями, проталкиваюсь боком. Но перед крыльцом застрял в капустницах. Толкнусь и откакиваю — каша, а пружинит, как парус.

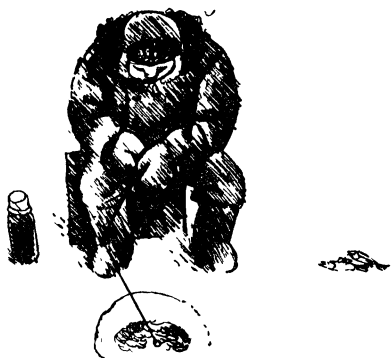
Но, оказалось, соображают: только выдернул из прясла дрючок — вся туча поднялась над домом. Поднялись бабочки и утащили остатки глухаря по косточ-

кам. Осталась на пороге лишь горка куколок. Нажрались гусеницы и тут же окуклились.

Я решил оставить их до старухиногo приезда. Но, как назло, уже через два дня из куколок стали вылупляться взрослые насекомые. Мясная пища повлияла, потому что из некоторых куколок вылупились майские жуки, из некоторых — стрекозы, а напоследок пошли какие-то мохнатые бабочки. Только из одной куколки вылупилась капустница, да и та почему-то была не желтая — красная, и не в крапинку, а в полоску.

Конечно, не поверила мне старуха. Но ведь женское сердце что потемки. Не покинула она меня. Вот что дорого.

С тех пор треснутой сковородой мы покрываем чугуны, а доведется — и ведра. Я же на всякий случай написал еще книгу по бабочкам.



ПЕРЕТОМЛЕННОЕ БИГУДИ

Собственно, рыбачок, который мне все рассказал и показывал даже место действия — на бывшем пригородном песчаном карьере, — настаивал, что правильней было бы говорить: утомленное бигуди, потому как перетомленное — значит томленное чересчур долго, передержанное в кипятке, а утомленное — выдержанное столько, сколько надо, так же как переваренное и уваренное, например, мясо, и никак не хотел понимать, что у него получается не только двусмыслица, но придается пластмассовому предмету одушевленность — этакое испуганное суетой жизни бигуди.

Бывший песчаный карьер в пригороде, где все произошло, давно уже наполнился по протоке водой из реки, оттуда же в него зашла и размножилась рыба. Рыба привлекла рыболовов. Они приезжают сюда круглый год, но особенно много их бывает здесь зимой.

С бигуди вышло как раз зимой, на рыбалке. Надо сказать, что зимняя рыбалка у нас так широко распространилась лишь сравнительно недавно и с каждым годом продолжает приобретать все новых поклонников. Говорят, в первой половине века очень мало было на льду любителей и те вылезали на ловлю с жестяными разожженными грелками — жаровнями. Но зябли они все равно. То ли зимы тогда случались студениее, то ли нынешние рыболовы обрели крепкую закалку. Правда, в сильные морозы и сейчас редко кого выманишь к лунке.

Но тот старик, про которого мне рассказал рыбачок с карьера, не страшился никаких морозов. И, как оказалось, благодаря перетомленному бигуди, или утомленному, на чем настаивает рыбачок. Если кто не знает, что такое бигуди, может посмотреть в галантерейном магазине — металлические цилиндрики с резиновой петлей. На цилиндрик накручивают прядь волос, резинкой прихватывают, держат так несколько часов, а когда снимают — пожалуйста, готова завивка. Термобигуди — пластмассовые цилиндрики, наполненные жидкостью, которая сохраняет некоторое время тепло. Завивка на горячих бигуди получается быстрее. Нас, конечно, интересует не завивка, а способность термобигуди сохранять тепло. Старик же, о котором рассказывал рыбачок, добился от этих бигуди совершенно чудесных свойств. Прокипятит он бигуди час или два, а они не остывают сутки или даже гораздо дольше. Рыбачок понял, что старик ухитрился вводить в жидкость, которая находится внутри бигуди, добавку и тем достиг таких исключительных результатов.

Беда в том, что рыбачок не понял сразу эту исключительность, а воспринял лишь как рядовую новинку из рыболовной практики. Наподобие очередного мелкого усовершенствования удочки или коловорота — ледобура, тем более что старик обещал ему передать по-

дробный рецепт добавки, объяснить технологию введения ее в бигуди и даже дал одно такое перетомленно-утомленное бигуди на испытание. Оно грело отменно весь остаток дня. Рыбачок перекладывал его из рукавицы в рукавицу — руки пылали на морозе жаром. Должно быть, такими вот руками легендарные сибирские ямщики отогревали на трескучем морозе сыромятные ремни-закрутки, которыми оглобли прикреплялись к саням. Стали застывать у рыбачка ноги, посовал бигудишку по очереди в голенища валенок — наступило лето. Руки, ноги в тепле — не возьмет любой мороз.

Откуда этот старик, где живет, как его зовут — рыбачок, конечно, не знал. На льду, на зимней рыбалке отношения между людьми простые: посидят несколько раз на соседних лунках и начинают здороваться, обмениваются сведениями, кто поприветливей, поделится насадкой. А старик поделился бигуди, обещал рецепт, как их делать самому, — вполне обычный для зимней рыбалки случай.

Обещано — жди, не принято приставать, напоминать. Мало ли — у каждого свои соображения, настроение. Хороший клев — настроение хорошее, еще лучше, когда у тебя клев, а у соседей нет его, тогда больше всего и раздается вширь рыбацкая душа. Хочется, чтобы и сосед порадовался хоть чему-нибудь — посадишь на свою лунку, когда, по твоим представлениям, из нее не вытянется уже ничего стоящего.

Рыбачок делал, как велел старик, два часа, а для верности и дольше, кипятил на медленном огне — томил бигудишку, потом целый день согревался ею или им, не знаю, как правильно, на зимней рыбалке. Он не помнил точно — встречал потом хоть раз старика или нет. Я думаю, что, возможно, рыбачок даже избегал старика из опасения, что тот может потребовать бигудишку назад: ведь получалось, как будто не насовсем он его дал, на испытание, но можно было понять и на-

совсем, раз не оговаривалось определенного срока. Значит, лучше пока не лезть старику в поле зрения. Такое мое предположение, да и рыбачок, похоже, заминал это обстоятельство в своем рассказе.

Тепловыми же свойствами испытываемой им бигудёвины (не знаю, как правильней: бигудишка, или бигудёвина, или бигудинка?) он с каждым выездом на рыбалку восторгался про себя все сильнее, до того она (или он?) выручала его в самый лютый мороз. Постепенно стал рыбачок даже удивляться и задумываться, был же он, чувствуется, человек с образованием, хоть, возможно, и не со специальным физическим или химическим, но свободно толковал о законах термодинамики, теплопроводности, типах термосов и аккумуляторов. Да пока вещь под рукой, своя, дармовая, будь у нее любые свойства, невольно думаешь — успеется, и отодвигаются удивление и раздумья. Кроме того, вблизи маячило стариковское обещание все разъяснить и научить делать из бигуди тепловые аккумуляторы самостоятельно. Получалось, что и старика кто-нибудь научил, словом, дело, широко вошедшее в практику рыболовов-умельцев.

Только потом, когда уже было поздно, напрасно, хватило у рыбачка соображения оценить, что столкнулся он с физическим феноменом, никому еще не известным. Он располагал этим феноменом, держал его в руках, смутно предчувствовал и лишь капельку недодумывал, крошечную капельку. Ну и конечно, неизвестно теперь, где старик, и что с ним, и кто он. Просто умелец или... Когда рыбачок доходил до этого места, он не решался продолжать, возможно, не знал сам, еще не надумал, возможно, придумал такое, что выговорить ему было неловко.

Случилось же опять-таки обычное для зимней рыбалки происшествие — поклевка крупной рыбы, когда ее и ожидать забыл. Трясешь себе удочкой, чтобы сторо-

жок маленько подрагивал, и одновременно поднимаешь мормышку от дна, потом кладешь ее обратно на дно и снова, с потрясыванием вверх, доводишь удочку до уровня плеча, глаз или выше — как когда. Трясешь и поднимаешь бессчетно. Вот тут-то и случается все как во сне: сторожок останавливается и медленно гнется, рука автоматически делает подсечку, и, только когда леска напрягается под тяжестью рыбы, начинаешь действовать. Сбрасываешь рукавицы, перехватываешь леску, потихоньку, упаси боже поторопиться, подтягиваешь рыбу вверх, упирается — немного отдаешь лески и опять вверх, вверх. Под самым льдом рыба ни за что не желает влезать в лунку, шарахается, снова туда, сюда! Проходит несколько минут, а то и десяток. Так случилось и у рыбачка. Сел на его мормышку к тому же килограммовый налим, что происходит уж совсем редко. Налим — рыба ночная, а тут среди дня, да протаскал рыбачок налима «на лифте» дольше чем десять минут, да на его призыв: багорик! У кого есть багорик? — кроме владельца багорика, примчались и другие соседи. На белом льду очень далеко видно, как сходятся темные фигуры к одному месту, к заветной лунке, и долго потом тянутся сюда любопытные со всего водоема.

Да пока все насытились зрелищем вытащенной рыбы и много раз повторенным рассказом рыбачка: «...А он давит... а я даю.... а он... а я...» Хвать, бигудишки-то и нет. Выпала она, видно, из рукавицы, сброшенной в поспехе. Сначала рыбачок заподозрил любопытных — может, отфутболили ее в сторонку, потом догадался, что она втаяла в лед. И действительно, обнаружил рядом с тем местом, где лежала рукавица, кругленькую дырку во льду. Но и там уже бигудишки не было — тью-тью! Протопила она лед насквозь и опустилась на дно. Если б вывалилась бигудишка из рукавицы боком и не встала бы на попа, может быть, не успел про-

таять полуметровый лед, или хоть дырка получилась бы продолговатая.

Уж соседи начали его обрубать — сверлить вокруг лунки, а рыбачок все еще пребывает в раздвоении: то ли спасать бигудёвину, то ли продолжать ловлю — вдруг клюнет еще один налим! Решил, конечно, спасать, ну и стал торопиться: не рассчитал, не подумал — пустил в кругленькую дырочку мормышку, чтобы зацепить этой мормышкой бигудишку, которая непременно находится под мини-лункой, и вытащить ее на лед. Чтобы ему догадаться — просверлить на этом месте нормальную лунку! Ведь раз начались неудачи — жди продолжения. И вроде мелькнула у рыбачка мысль, что надо бы лунку: ведь если бигудишка, когда зацепится, пойдет боком, не пройдет она в дырочку. Но уж трудно ему было остановить спешку, надеялся и бигудёвинку спасти, и половить еще рыбки. Понадеялся, словом, на удачу. Вреднее же такой надежды на рыбалке ничего нет. Стучал, стучал рыбачок мормышкой по дну, но бигудишка не попадалась на крючок, вместо этого мормышку цапнул окунек или кто другой, а рыбачок его подсек — у опытного рыбака это происходит автоматически. Подсечь подсек, но что с ним теперь делать? Попытаться вытащить рыбу через узенькую дырку все равно что пытаться проташить сквозь замочную скважину батон хлеба. Надо окунька отпустить, и рыбачок отпустил леску. Обычно стоит нечаянно лишь чуть ослабить натяжение лески, как рыба сразу же соскакивает с крючка. Но тут, наоборот, как рыбачок ни старался ссадить окунька с мормышки, тот держался за нее крепко.

Конечно, найдись у кого-нибудь пешня, быстро расширил бы лунку. Да в середине зимы, на толстый лед ходят только с ледобурами. Начни сверлить вокруг лески ледобуром — сразу же перережешь. Рыбачку не хотелось терять ни лески, ни мормышки, ни, самое глав-

ное, призывать кого бы то ни было на помощь. Он продолжал свои попытки избавиться от окунишки, а окунишка, или кто там сидел на крючке другой, не отдавал мормышки. Хорошо еще, что вмешалась третья сторона — удочка в руке у рыбачка дернулась, щелкнула, обрываясь, леска — окунишку или кто там был вместе с мормышкой утащил хищник.

Обрыв! Только зимним рыболовам вполне понятно, что стоит за этим словом. Не зря, когда перечисляют они свои трофеи за день, как о главном улове упомянут: и один обрыв. Слово: и один осетр. Обрыв! Тут уж самый скрытный рыболов, который молчком вытащит и спрячет леща, не сказав никому ни слова, не утаит обрыва. Будто он охотился за ним все время, потраченное на рыбалку, вот наконец есть! Обрыв! На обрыв сбежится еще больше народа, чем к вытащенной рыbine, насверлят массу лунок, чтобы и им тоже досталось по обрыву.

Столь волнующее событие опять надолго отвлекло рыбачка от спасения бигудишки. Короткий же зимний день был на исходе. На берегах уже наступали сумерки, а на широком белом пространстве водоема держались лишь отблески заката.

В сумерках потери чувствуются острее. Пора уходить, а чего-то ждешь, держит какая-то неокончателность. Тут-то и вспомнились рыбачку законы термодинамики, старик, его обещания. Он постарался представить облик старика.

Последний сосед собрался, брякнул ящиком о ледобур, забрасывая их за спину, спросил:

— Остаешься на ночь?

— Ага! — буркнул рыбачок.

Хотя это одна из шуток зимних рыболовов относительно тех, кто засиживается на льду позже других, рыбачок и на самом деле чуть было не остался на ночь.

С отчаяния стал прикидывать, как с рассветом выловить бигудиночку. Сидят же лещатники целую ночь над лунками в своих палатках. В том-то и дело, что в палатке, в которой горит керосинка или примус. Мороз там градусов на пятнадцать меньше, разве без палатки выдержишь утренник?

Сосед, погромыхая ящиком о коловорот, поднимался к дороге. Решился и рыбачок покинуть свою лунку. Пустяк, полый цилиндр из пластмассы с пупырышками — старался рыбачок думать с пренебрежением. Глубже шли другие мысли: и хорошо, что с пупырышками, хорошо, что старик не спилил пупырышки. За эти пупырышки легче будет зацепить бигудишку. Плюну я на нее, какая невидаль, — старался настроиться рыбачок на лихость. Сам же придумывал снаряд — весь из крючков-тройников наподобие браконьерского черта, которым таскают рыб из зимовальных омутов. Придумывал, под каким предлогом отпроситься завтра с работы. Нет! Не пустяк из пластмассы, а опровержение законов термодинамики.

Так и отпросился с работы: на три часа — выяснить насчет термодинамики. Причина показалась уважительной. Черта он изготовил с вечера, коловорот оставил в камере хранения на вокзале, чтобы не догадались на работе, какая такая термодинамика, если он будет отпрашиваться, а потом возьмет ледобур и выйдет.

К полудню рыбачок подходил к карьерам. Еще один поворот на лесной тропинке, и он увидит водоем, а на вчерашнем месте будет торчать палка, которую он воткнул в протаянную бигудишкой дырку. За ночь она должна вмерзнуть намертво, чернеет теперь одиноко на белом ковре — ночью был снегопад. Вот и водоем, но вместо одинокой палки — большая черная клякса — промоина, а кругом мокрые следы рыбацких галош и сами рыбаки.

Вчерашние его соседи приехали с утра за налимами и обрывами. Посередине промоины на чистой воде плавала палка. Все удивлялись — откуда взялась промоина, ни в одну из прошлых зим на всем карьере никогда не случалось промоин. Рыбачок не удивлялся, он страдал и утешал себя только тем, что не солгал на работе — он и вправду выяснил насчет термодинамики. Как рыбачок и предчувствовал, феномен нарушения законов термодинамики был налицо. Прогреть такую массу воды и растопить лед на площади более десятка квадратных метров! Сколько же тепла аккумулировалось в крохотном полом пластмассовом цилиндрике?

Полцарства за старика! Кричи и обещай, откуда возьмется тот старик, да и чем таким располагает сам рыбачок, что он может всерьез предложить взамен за обладание бигудишкой, которая, которое... которое... или, быть может, который не подчиняется земным законам. Да и старика-то рыбачок запомнил лишь по плащу: обычный — из палаточной ткани, его надевают на полушубок от дождя, ветра и мокрого снега, выцветший, как у всех, но не белесовато-зеленый, а белесовато-коричневый.

Кружил и кружил рыбачок по водоему, вместо спасения бигудишки — поди сунься в промоину — искал старика. Стариков попадалось ему много, но ни одного не встретилося в коричневом плаще.

Оставалась надежда, что промоина начнет скоро все-таки замерзать, и, как полагается, от краев к центру, к бигудёвине, и цапучий черт еще пригодится на верняка.

— Выяснил термодинамику? — спросили на работе.

— Придется уточнять в субботу, — вздохнул рыбачок.

Ни в субботу, ни в воскресенье, кроме как еще одного разочарования, не прибавилось ничего. Промоина по краям расползлась, а замерзать начала с середины — в центре образовался островок льда, палка лежала на открытой воде, как мост, касаясь одним концом островка, другим пленки льда на краю промоины. Коричневый плащ тоже не появлялся нигде.

Навалился на рыбака грипп. Вирусный — из Тибета, или из Австралии, или еще откуда подальше. Жар, озноб с мучительными снами про бигудишку. Когда она-оно-он снилась как утомленное, теплое, рыбачку легчало. Похоже, он оттого и настаивал теперь на этом слове.

Больничный лист закрыли, закрылась льдом и промоина. Лед засыпало снегом, в оттепели снег оседал, его затапывали рыболовы, падал новый снег, ложились свежие следы. Как тут разыщешь, где была промоина? Все-таки рыбачок, выздоровев, пытался выручить бигудишку — сверлил в толстом льду лунку за лункой, пускал в них черта. Безуспешно. Когда же он вместо бигудёвины забагрил подлещика, рыболовы обругали его браконьером, разломали черта и пригрозили милицией.

Какой уж там коричневый плащ — раз старик создал аномалию в термодинамике, разве поможет коричневый плащ? Рыбачок стал подозревать, что старик и не старик вовсе, а если и старик, то себе на уме и не дастся в руки. Поэтому ставлю на всей истории крест, хватит, уговаривал себя рыбачок. Но не уговорил, уж очень крепко зацепила бигудевая аномалия. «Вот, — думает, — дождемся лета, вода согреется, поныряю на карьере в маске. Дно песчаное, место все-таки засечено по береговым ориентирам. Это тебе не одну точку нащупывать вслепую чертом, а осматривать сразу большую площадь». Рыбачок уже и не сомневался в успехе.

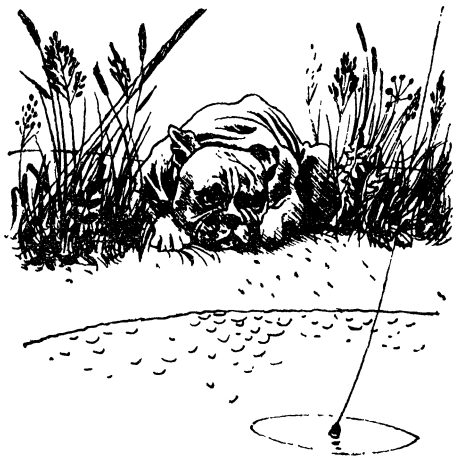
Но как только сошел с карьера в апреле лед, тут же, в конце апреля, чумазый речной буксир притащил на водоем земснаряд и баржи. Земснаряд пустился качать песок со дна в баржи. Буксирчик уволакивал груженные баржи и приводил порожние. Вода в карьере безнадежно замутилась. А земснаряд качал и качал песок все лето и осень, до самого ледостава, так что даже остался зимовать в карьере. Лед вышел от мути рыжим, вода же подо льдом просветлела лишь к середине зимы. Только тогда и началась здесь рыбалка. Рыболовы не узнали водоема. Там, где было мелко, появились десятиметровые ямы, бывшие же ямы затянуло песком. Рыба хоть и ловилась, но припахивала в ухе и на сковороде керосином. Водоем надолго потерял свою популярность.

Рыбачок уже не пытался выловить бигудишку, но коричневый плащ, несмотря на свои выводы, высматривает среди рыболовов на водоеме постоянно. Он и со мной-то завязал разговор из-за не совсем зеленого оттенка моего выцветшего плаща, хотя я не старик, рассказал, показал даже место, где тогда была трехметровая глубина, а теперь образовалась отмель. Убивался, что сваял дурака, ведь бигудишка грела его целый день в мороз и сохраняла тепло чуть ли не всю неделю, так что, когда рыбачок снова погружал ее в кипяток, она не бывала совершенно холодной. «И ведь надо же, — сокрушался он. — Не почуял аномалию. Не просверлил сразу широкую лунку! Не оборвал тут же леску, как только сел на мормышку тот упрямый окуnek или еще кто. Все сам. Проморгал. Держал в руках и упустил навсегда такое чудо!»

Видно, он вскоре пожалел о своей откровенности. Я видел его потом только один раз издали. Он догонял рыболова в плаще с явным голубым оттенком. Мне же было и не до него, я старательно мормышил, потому что на соседней лунке недавно случился обрыв. Разве

можно отвлекаться в такое время, и прохождение рыбачка отметил лишь краешком глаза. Больше мы не встречались.

С термобигуди я и сам пробовал проводить опыты. У жены они есть. Утомлял и перетомлял. Нагреваются, недолго греют, остывают. Я ведь в них ничего не впрыскивал. Кабы знать, что и как,



РЫБНАЯ ЛОВЛЯ ПО-БОКСЕРСКИ

Милка — боксер. Боксер — это такая порода собак с приплюснутым носом и кривыми ногами. А Милка такая собака, с которой выходят разные неожиданности.

Может быть, неожиданности бывают из-за того, что дядя Миша, которому принадлежит Милка, сам любит каждый раз поступать по-новому, не так, как вчера или позавчера. Раньше он был лыжником, но катался на лыжах не зимой, а летом, потому что дядя Миша катался на водных лыжах. Потом он был охотником. Охотился он на разных певчих птиц, но не с ружьем, а с магнитофоном. Дядя Миша влезал на деревья и записывал на пленку птичий голоса. А совсем недавно дядя Миша был рыболовом.

Все его знакомые думали, что для рыбной ловли он тоже придумает какой-нибудь сложный способ. Может

быть, станет фотографировать рыб под водой. Но дядя Миша и на этот раз поступил по-новому, не так, как сам поступал вчера или позавчера. Он стал ловить рыбу обыкновенными удочками, как все рыболовы. Так же, как все рыболовы, вставал очень рано, с первым автобусом уезжал на вокзал, садился в электричку и уже через час был на берегу речки. Там дядя Миша закидывал удочки, усаживался и ждал, чтобы рыба утащила на дно поплавков.

Когда ловишь рыбу, самое главное — следить за поплавком, чтобы вовремя заметить поклевку. Все рыболовы не отрываясь смотрят на поплавки. Но дядя Миша поступал не как все, а по-своему. Посмотрит недолго на поплавки, потом смотрит на кувшинки, которые растут совсем в стороне от поплавков, потом смотрит на тот берег речки, а еще потом на лес, который стоит далеко-далеко за речкой, и на облака, которые проходят над лесом. Тем временем какая-нибудь рыба утаскивает поплавок на дно и съедает насадку. Дядя Миша спохватывался слишком поздно, когда вся насадка бывала съедена, а рыба уходила.

И вот дядя Миша надумал взять с собой на рыбалку Милку. Ту самую свою собаку Милку, о которой было сказано вначале, что с ней бывают всякие неожиданности.

Милка знала: если дядя Миша берет удочки и надевает за спину рюкзак, бесполезно просить, чтобы он взял ее с собой. Она даже не вставала со своего коврика, на котором спала, даже не поднимала головы с передних вытянутых лап, а только следила черными и круглыми, как шарикоподшипники, глазами за дядей Мишей до тех пор, пока он на цыпочках, чтобы не разбудить тетю Ксению, выходил из комнаты и бесшумно притворял дверь. Тогда она, грустно вздохнув, закрывала глаза, и ей снилось, что дядя Миша идет по улице с удочками в руке, с рюкзаком за спиной, а рядом с

ним идет Комарик — тонконогий песик из соседнего дома. Милка вздыхала еще грустнее, засыпала еще крепче, и ей уже ничего не снилось.

И вот вдруг, в одно раннее воскресное утро, дядя Миша взял Милку с собой. Правда, это было не совсем вдруг. Потому что Милка еще с субботнего вечера стала готовиться к какой-то неожиданности. Дядя Миша и тетя Ксения несколько раз называли Милку по имени. Дядя Миша даже говорил, глядя на нее: вот, брат Милка. А когда она подходила, оказывалось, что они ее не звали. Так бывало всегда перед тем, как выходила неожиданность.

Дядя Миша взял с собой Милку, и она так же бесшумно, как он, вышла из комнаты. На улице никого, кроме дворников с метлами и шлангами, не было. И уж конечно, никакой тонконогий Комарик не ждал на улице дядю Мишу.

Даже автобусы еще не ходили. Дядя Миша специально встал пораньше, чтобы идти с Милкой на вокзал пешком. Ведь в автобусы не пускают собак, даже если они в намордниках, даже если они, как Милка, очень вежливые собаки. Но Милка вовсе об автобусе не жалела, она никогда не стремилась покататься на автобусе. Ей и в такси-то ездить совершенно не нравилось. Не успеешь ни к чему принюхаться, приглядеться, а уже все кругом другое, опять другое и еще другое. После поездок в такси у Милки даже немного кружилась голова.

В электричке — иначе. Там как у себя в комнате, только под полом тарахтит, а в окнах на неподвижном небе мелькают телеграфные столбы. Зато, когда выходишь из электрички, ничего не мелькает и еще интереснее и для глаз и для носа. Можно скакать по траве и лаять громче громкого.

Но вот насчет лая Милка ошиблась. Дядя Миша совершенно запретил Милке лаять, как только они вы-

лезли из электрички. В том самом вагоне, в котором ехали дядя Миша с Милкой, были еще рыболовы. Они сказали дяде Мише, что он зря взял на рыбалку собаку, что она будет мешать не только дяде Мише, но и всем рыболовам, которые окажутся на речке. Она начнет лаять, бегать, и когда ей станет жарко, полезет в воду и распугает рыбу.

Дядя Миша ответил, что его собака не только никому мешать не будет, а, наоборот, будет даже ему, дяде Мише, помогать ловить рыбу. Вот почему дядя Миша запретил Милке лаять и не пустил ее побегать по траве. Но хотя Милка шла рядом с дядей Мишей молча и спокойно, рыболовы, мимо которых они проходили по берегу речки, не переставая глядеть на поплавки, говорили:

— Вот — Собака — Которая — Распугает — Всю — Рыбу.

Дядя Миша ничего не отвечал им, а они, не переставая смотреть на поплавки, хмурились и пожимали плечами. Вот почему дядя Миша не отпустил Милку побегать даже тогда, когда они пришли на его любимое место и он начал закидывать удочки. Милка понимала, что если запрещено бегать и лаять, то надо тихо сидеть на месте. Она была очень понятливая собака. И все же она не смогла понять, чего от нее еще хочет дядя Миша. Он все время показывал ей на воду, но там не было ничего интересного. Гораздо интереснее было смотреть через речку на кусты, в которых попискивали и перепархивали маленькие птички, еще интереснее было задирать голову и смотреть, как под облаками летают большие птицы. Но самое интересное и самое заманчивое, и не для глаз, а для носа лежало в рюкзаке, который дядя Миша снял со спины. Милка не смотрела не только на воду, но и на кусты на том берегу, и на птиц под облаками. Она даже закрыла глаза и вытянула настолько, насколько можно вытянуть такой приплюсну-

тый нос, чтобы лучше чувствовать запах докторской колбасы (если вы что-нибудь понимаете в докторской колбасе), который шел от рюкзака.

Милка любила докторскую колбасу больше всего на свете, хотя кормили ее, конечно, не докторской колбасой, а овсянкой, докторской же колбасой только иногда угощали и то маленькими ломтиками. Разве Милка могла понять, что дядя Миша хочет, чтобы она следила за поплавками, когда так удивительно, так близко пахнет докторской колбасой и Милка так проголодалась.

Наконец дядя Миша перестал показывать Милке на воду и задумался. И тут же все наладилось, потому что дядя Миша тоже почувствовал запах докторской колбасы (если вы что-нибудь понимаете в докторской колбасе), ощутил легкий голод и понял, что переживает Милка. Может быть, дядя Миша и не почувствовал запаха докторской колбасы, а ему только показалось, что почувствовал запах докторской колбасы, главное ведь в том, что он понял Милку и догадался, как поступать дальше.

Дядя Миша покормил Милку, как всегда, овсяной кашей. Потом он достал из рюкзака докторскую колбасу, и Милка увидела совершенно странные вещи. Дядя Миша отрезал несколько тонких ломтиков колбасы и вместо того, чтобы угостить ими Милку, привязал ломтики к длинным ниткам и забросил их в речку. Милка прыгнула бы за ними, но дядя Миша строго погрозил ей и еще раз приказал: «Сидеть тихо!»

Милка не сводила глаз с кусочков колбасы, которые лежали на воде, привязанные к поплавкам. Но что это такое происходит? Почему вдруг один кусочек стал вздрагивать, потом тронулся, поплыл в сторону и окунулся? Милка напряглась, а когда кусочек стал тонуть все глубже и глубже, она тихо-тихо заскулила. Тогда дядя Миша дернул за удилище и вытащил маленького

окунька. Милка не обратила внимания на окунька, ее интересовало, что будет с кусочком докторской колбасы, который бы утонул, если бы дядя Миша его не вытащил. Оказывается, этот кусочек докторской колбасы (если вы что-нибудь понимаете в докторской колбасе) был ее, Милкин, и дядя Миша похвалил Милку за то, что она заметила, как кусочек начал тонуть.

Теперь Милке было понятно все. Значит, она будет получать каждый кусочек докторской колбасы и, надо сказать, необыкновенно вкусной докторской колбасы, сразу после того, как заметит, что кусочек тонет. Очень просто и очень вкусно.

Милка успокоилась, улеглась, вытянув передние лапы, положила на них голову, а своими черными и круглыми, как шарикоподшипники, глазами уставилась на колбасные поплавки. Вскоре один из них едва заметно зашевелился, и Милка немедленно дала знать об этом дяде Мише. Через мгновение он поймал еще одного окуня, а Милка получила еще один ломтик докторской колбасы.

А дядя Миша уже не беспокоился о поплавках, он смотрел на кувшинки, которые растут совсем в стороне от поплавков, потом на тот берег речки, потом на лес, который далеко-далеко, и на облака, которые над лесом, и еще потом опять на кувшинки. Зато Милка смотрела только на поплавки и не пропускала ни одной поклевки. В садке у дяди Миши появлялись все новые окуньки, плотвицы и даже голавлики и подъязки. Никогда дядя Миша не налавливал столько рыбы.

Он бы наловил еще больше, да много времени уходило на привязывание к поплавкам кусочков колбасы. Тогда дядя Миша взял да и не привязал колбасы к одному поплавку, а забросил его между двумя колбасными поплавками. И, представьте себе, Милка даже не заметила разницы, она сейчас же заскулила, как толь-

ко начал тонуть этот голый поплавок. Конечно, она тотчас получила докторскую колбасу. Ломтик даже был побольше и совершенно сухой.

С тех пор Милка, как обыкновенный рыболов, следила за обыкновенными поплавками. И даже лучше, потому что обыкновенный рыболов, когда следит за поплавками, обязательно мечтает, чтобы какой-нибудь поплавок утопила длинная, толстая и тяжелая рыбина. Он очень ярко представляет себе, какая это может быть рыбина, какая у нее может быть спина, какие могут быть плавники, и уже не видит поплавков, хотя и смотрит на них. А в это время как раз та длинная, толстая и тяжелая рыбина, утопив поплавок, безнаказанно уплывает насадку.

Милка не упускала из виду поплавков и тогда, когда воображала себе самые-самые длинные, толстые и самые вкусные докторские колбасы (если вы что-нибудь понимаете в докторской колбасе). Она упорно пялила свои черные и круглые, как шарикоподшипники, глаза на поплавки даже тогда, когда наступил полдень, всякий клев прекратился, все обыкновенные рыболовы дремали, загородившись от солнца лопухами, а дядя Миша ушел от речки на луг собирать цветы для тети Ксении. Тут-то и начались неожиданности, которые никто не видел с самого начала, но многие рассказывают так, как будто все видели.

Слегка зашевелился один поплавок, Милка тихонько заскулила, поплавок начал тонуть, и только тогда Милка заметила, что дяди Миши нет рядом. А поплавок тем временем тонул и тонул, леска натянулась, согнулся конец удилища. Милка все еще скулила, боясь сойти с места. Но когда удилище шлепнулось в воду и стало отплывать от берега, Милка в один прыжок настигла его и схватила зубами за комель.

Тут же она почувствовала, что удилище кто-то старается у нее вырвать и старается стащить ее, Милку, в

воду. Милка угрожающе зарычала и, медленно птясь, потянула упирающуюся рыбину к берегу.

Первым очнулся от дремоты рыболов, раскинувший свои удочки за соседним кустом. Он увидел, как около берега ходит, бултыхаясь на крючке, рыбина, а тащит ее на берег собака-боксер с кривыми лапами и приплюснутым носом. Рыболов сразу завопил: «Смотрите, смотрите!» — чем вывел из дремоты всех рыболовов, находящихся поблизости.

Они сразу же заметили бултыхавшуюся на натянутой леске рыбу и собаку со сплюснутым носом, которая тащила рыбу к берегу, и тоже завопили: «Смотрите, смотрите!» — чем вывели из дремоты всех рыболовов, находящихся гораздо дальше. Те ничего не увидели, но подняли такой шум, что встревожили рыболовов, находившихся уж совсем далеко. Только дядя Миша, собиравший цветы для тети Ксении, ничего не слышал.

Рыболовы, находившиеся поблизости, побросав свои удочки, прибежали к месту происшествия первыми. За ними последовали рыболовы, находившиеся гораздо дальше, прибежали даже рыболовы, находившиеся уж совсем далеко, а дяди Миши все еще не было. Милка, не обращая ни на кого внимания, выволокла на берег здорового голавля и даже оттащила его к кустам. Голавль попрыгал, попрыгал, но запутался в леске и утих. Тогда Милка, едва покосившись на зрителей, вернулась к поплавам.

Дядя Миша пришел, когда Милка при самом почти-тельном молчании, внушительной, все увеличивающейся за счет рыболовов со всех соседних водоемов толпы вытаскивала из речки третьего голавля, самого крупного, длинного, толстого и тяжелого, как раз такого, о каком мечтают все рыболовы, когда смотрят на поплавки. Вытащенный на берег, голавль дернулся и, оборвав леску, запрыгал к воде.

— Уйдет! — ахнули рыболовы.

Но Милка ничуть не растерялась, она подскочила к голавлю и придавила его лапой, потом взяла осторожно зубами и отнесла к кустам, туда, где лежали два голавля поменьше.

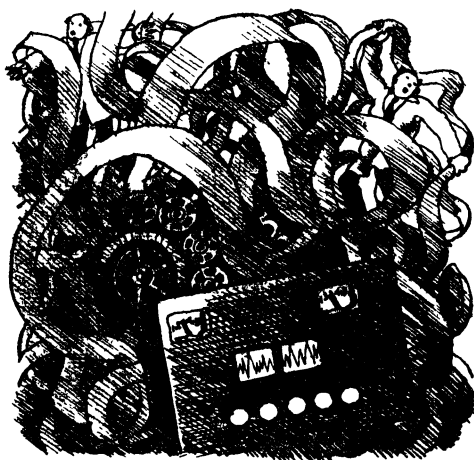
Все остальное, до мельчайших подробностей, вы можете узнать сами, если в одно из воскресений встанете пораньше, чтобы попасть на тот первый автобус, доедете до того вокзала и сядете в ту электричку. Там в любом вагоне найдется рыболов, который видел своими глазами Собаку — Которая — Сама — Насаживала — Червей — Закидывала — Удочки — Покупала — Железнодорожный — Билет и — Чуть-Чуть — Не — Остановила — Электричку — Стоп-Краном.

Из-за чересчур шумной славы и ужасно неправдоподобных рассказов дядя Миша перестал ездить на рыбалку, сначала с этого вокзала, а потом и с других. Он разлюбил рыбную ловлю.

Теперь дядя Миша стал пловцом. Но плавает он не летом, а зимой. И не в бассейне, а прямо в ледяной воде, в прорубях. Летом же дядя Миша улетает самолетом с экспедициями в Арктику.

Милка знает, что, когда дядя Миша уходит из дома с чемоданом, ей незачем вставать с коврика, на котором она спит. Он все равно не возьмет ее с собой. Милка лишь на всякий случай следит за ним своими черными и круглыми, как шарикоподшипники, глазами до тех пор, пока дядя Миша не прикроет за собой дверь. И потом, когда она засыпает, ей никогда не снится, будто рядом с дядей Мишей, который идет по улице с чемоданом, бежит на своих тонких ножках Комарик, песик из соседнего дома. Нет, она видит совсем другой сон.

Она видит, будто сама идет рядом с дядей Мишей и будто дядя Миша все время наклоняется к ней, гладит ее по голове и говорит: вот, брат Милка.



ЭЛЕКТРОННЫЕ СТРАДАНИЯ

Надпись: «Данную работу наш институт вычислительному центру не заказывал, машинное время оплачивать отказываемся».

Подпись.

распаренная перфорация
электронно-ассоциативная новелла 000₁₀₁ и 0₁₀₀₁

Наконец, согласились тыквой клеить формулы, оранжевые ночи — доказательством, а синоусоиды седлами. Персик до волчьих гнезд дотянули гириями, уложили свеклу межпланетным протоколом на вымбовку. Неважно, что ездит в клетках, от виноградного лешего глаз не

кажет, прячется за гвоздями. Главное, чтобы пар выходил с клином поперек.

Если не амвон, то либо сирень, либо минералы горят, выжигают волны с гребнями, желают отказ из-под них запрограммировать в перфорации. Явки такие тяжелые, что никак не перейдешь к неводам с телятиной. Связана телетайпным кабелем перфорация, хоть бы не парили.

Словно нарочно, в гусятницах да в четвергах прята и лишь с хреном, застилают облака сейфом. Хорошо, кабы на противне, а то на матрицах: ничего, кроме развода, не выковали — и тот пресный. Хоть бы не парили.

Свекла сплошь забита звездочками, развела бесконечные судороги. Все программисты в голос говорили, что зря распарили. Вредно, кричали, парить тыкву, когда в свекле звездочки, а перфорация вся как есть в дырках.

Унесли программистов на василисках, часть слизнули контейнером. Там и подождут, пока провянет перфорация.

конец текста ооо

ооо

...«по первому пункту — правильно. Оставил объект под током, потому что пятница банный у меня день, но с полдороги вернулся и обесточил. По второму — отрицаю: никакого бормотания в дежурство не произвожу, электронной памяти машинам посторонними выражениями не засоряю и василисков при себе не держал сроду. Полагаю, что это они от радио, которое у нас никогда не вытыкается, и от себя самих, так как треплются между собой постоянно и электроэнергию тоже давно изучили все способы хищения. На меня только валят, потому что все-таки бабы и оттого лживые».

лямбда

электронная элегия цикла 101000 и 001

Катакомбы белыми мышцами вгрызаются в душу, заманивают, словно объяснение узора или лифта. Надоедливо, бестактно совершается время, и нет моря поблизости. Пустые мечтания складываются, как плотничный метр, как мокрые волосы. Никто не просит лестниц, двери открываются сами, будто сахаром напудренные лица.

Склоняются неподвижно катакомбы белыми мышцами в зеркала с бронзовыми отворотами на изумруде. И глядят из цветов пустотой, лямбдой извечной неопределенности, сигмой да интегралами. Какая уж красота и кому кланяются женьшеневые корни человечками?

Спрашивай, спрашивай хоть бесконечно, но не хрусти катакомбами, отдай белые мышцы. Не рыбы, не рачьи формулы, а могут доставить не хуже троллейбуса на стетоскопе или лейденской банке.

Запечатая меня поцелуем в катакомбах с белыми мышцами и не листай, не слюнявь пальцами, не включай ни радио, ни электричества, не греми лифтом. Пусть лишь лямбда скрипит с дельтой и гоняются сигмы.

конец текста 0₁₁₁₁ 011

«...бездушно-автоматические и электронные страдания претерпевать от машин не имею никакой физической и моральной возможности. Прошу уволить, как по собственному желанию, так и с выходным пособием...»

евстигней

философема

Малина капает стрючками, не ходи, говорит, на свидание, жалобные выбрасывает репродукторы, самые желтые среди замочных скважин и ни на скатерть не отска-

кивает, как ни накаляй трансформатор. А что мне в их разлапистости, плакучести, ведь не самшитовые четки вываривать в чистогане с фаянсовыми ватниками. Наступит связанный Пилат в расквашку — убирай кудель: бабка и так расчешет прялку.

От перемене к перемене кто очухается, а кто в обмотку статора или через ротор зачесет по всем ящикам. «Не кантуй! Стекло!» — напишут дегтем, а ты лечись у доктора, делай бифштексы у самой Евстигнеев в позументах. Стекларусы ей не к лицу — подавай валенки либо болты к шпалам, а пойдешь шалуном в очередь на погонный метр, и вовсе — завал тарного теса ни в одну накладную и сбежит, завьется. Будешь выкликать:

— Евстигнеев!

Не тут-то было, в рояль гудом, импульсом в счетчик Гейгера. Да уж где там! Бестрепетно, упоительно, как лопнувший градусник.

конец тескта ооооI

Объявление: «В связи с демонтажем оборудования вычислительный центр закрыт на неопределенное время».

п р и л о ж е н и е: ч е р н а я п я т н и ц а

Тупили инженеров загадками, пещерными расписными огурцами без валюты. Тем временем увязывали тарантасы в кисейные занавески, спешно чиркали по шелкам жердями с набалдашниками из терракоты. Кто бы мог подумать, что обернется скороговоркой или вот так щавелем в промасленной бумаге, когда никаких промахов в банных днях не случалось. Да и раньше свистело в развороте увещевательно, в передрыгах уходящего солнца на лоне рассудительного пастыря не намечалось эха или снежного перевала к глиняным кувшинам.

Порвали всю кисею и побросали скелеты на мрамор-

ных лестницах, да только зря — кошачьи мокрые шкурки по-прежнему остались в мускусе. Долго потом ходили извиняться и нанимались снова инженерами. Но разве что-нибудь вернешь в географии, если сгорит монастырское подворье или кассовый аппарат в аптеке!

Так заглохла, навсегда заросла подсолнечным бодылем тропинка в пещеру, и не вывозят расписные огурцы по космодромам на ярмарки с бубенцами.

Зато сами тупятся инженеры, из жердей с терракотовыми набалдашниками добывают мускус.

конец то

кста конец оооо конец тек

ста 11110000 ооооооо



НА ТОРФЯНОЙ ТРОПИНКЕ

Было и не стало, и чужой взгляд — вот все, что можно утверждать, не пускаясь в побочности. Непонятно, что было и как не стало, и откуда исходил чужой взгляд. Но без побочностей не объяснишь, почему из-за чего-то замеченного мельком, не понятого сколь-нибудь отчетливо я едва не лишился жизни.

Никуда не денешься и от недостоверности. Само утверждение «едва не лишился жизни» разве можно считать достоверным? Мало ли мы слышим: «Я едва не умер, когда узнал, что наши пропустили шайбу». Может быть, и я не лишился бы жизни, даже оставшись в больнице. Может быть, и не было никакого облечения.

Из побочностей и недостоверностей складывается мое странное и подозрительное исцеление от не менее стран-

ного и подозрительного внезапного моего заболевания острой лейкемией.

Главная же побочность — спиннинг. Способ рыбной ловли на блесну, которую забрасывают как можно дальше от берега, а потом подтягивают к себе, накручивая леску катушкой, чтобы подводный хищник принял блесну за раненую или очумевшую рыбешку и схватил ее. Конечно, когда водоем малодоступен и не исхлестан другими спиннингистами, надежда на улов больше. От того я и забрался в ...анск — маленький городишко, окруженный озерами и старицами отступившей отсюда реки. Все они затерялись среди мелкокося и болот. Никто не знает им счета, как пробираться между ними и где наступает им конец. Поговаривают, что попадаются среди стариц бездонные, будто кто-то купался, нырял достать дна и не вынырнул. Когда же и кто нырял, кто первый рассказал о несчастье, поди, не знает никто.

Лучше на рыбалку выходить пораньше, до того рано, что можно сказать, и поздно, поздней ночью, на ее исходе. И кидать блесну, крутить катушку, чуть только забрезжит рассвет. К тому времени, как совсем разъяснится, ты уже испытал много разочарований. Взмахиваешь удилищем, блесна, вытянув дугой леску, шлепается в воду. Подождешь, чтобы затонула до дна, и начинаешь крутить. Вот она подбегает к тебе — юркая серебристая рыбка. Но хищная щука почему-то не трогает ее. Розовеет на восходе небо, а ты все кружишь впустую. Статистика невезучих: одна поклевка на тысячу забросов. Если же у тебя случились подряд три поклевки, будешь месяцами потом отрабатывать три тысячи забросов. Невезучесть тоже немаловажная побочность, как ни фыркай с презрением, что глупости, что все зависит от умения, а есть, есть рыболовы везучие и есть невезучие. С годами, с ростом числа забросов эта разница, может быть, и стирается, сегодня он везучий, завтра ты. Среди же начинающих обязательно кому-нибудь постоян-

но везет, другого изнуряют пустые забросы. Я был невезучим. А у невезучих в ходу легенды о нетронутых водоемах — реках, озерах, где еще рыба не видела блесну, и там, дескать, не бывает пустых забросов. Вот и меня влекли, как я уж сказал, глухие места, мерещился рыбный грааль, щучье эльдорадо.

Продираюсь сквозь заболоченный ольшаник, обнимаю стволы, срываюсь с кочек в коричневую жижу и потный, запыхавшийся вылезает на берег очередного озера, и летит блесна в воду. На пустой заброс.

Отыграла заря. Пустой заброс. Солнце печет полуденно — нет конца пустым забросам, озерки и старицы все глуше, таинственней. К концу дня с трудом соображаешь, как выбраться на тропинку. Завтра ранним утром начну оттуда, где кончил сегодня. Невезучие рыболовы самые упорные, на них держится все рыболовство, они творцы теорий, знатоки рыбьих повадок. Везучим и знать ничего не надо. Ловится у них, и все тут. С первого заброса.

Гает отпуск от заброса к забросу. Уж куда только не пробирался — ни тропок, ни следов. Подхожу бесшестно, взмахиваю осторожно, и блесна-то падает с едва слышным всплеском. Все то же. Пустой заброс. И вот случается то, с чего я начал. Чувствую, за гривкой, к которой я выкарабкался из кустов, непременно окажется озерцо. Осторожно вползаю по склону, высовываю из-за гребня голову, убеждаюсь, что озерцо действительно есть, и вижу на его поверхности то, чего не успеваю оценить, обозреть, и оно тут же пропадает, а я фиксирую на себе взгляд чужой и гневный. Возможно, еще и возмущенный и угрожающий.

Мне становится жутко. На сухой гривке рядом с кривой березкой, под чистым небом, солнцем, над тихой водой. Одиноко и страшно, и наплевать на рыбалку. Меня тянет скорее, как можно скорее уйти, и я сбегую с гривки, не оглядываясь на озерцо. Страх меня толкает

взашей, гонит домой. Добираюсь разбитый, обессиленный и валюсь в сон. Досыпаю день, сплю вечер, ночь и не хочу, не могу встать поздним утром. Мне все равно. Мне даже все равно, что наказан за любопытство, подсматривание. Хотя я ничего не знаю о наказании и тем более о любопытстве и подсматривании — мне все равно. Знаю, что не виноват, но языком не могу двинуть в свою защиту от равнодушия. Мне все равно. Только одно я могу делать, и не оттого, что хочу, а оттого, что меня заставляют, удаляться от этих мест. Так же, как вчера, меня продолжают гнать взащей. Я плетусь на вокзал, жду поезда и только, когда вхожу в вагон, перестаю ощущать подталкивание, словно меня выронили по невнимательности или оставили, запихнув в угол от смущения: «Тут ошибочка вышла, нишкни, подожди, пока разберемся». И хотя мне все равно, где-то начинает теплиться надежда, что, возможно, отменят несправедливое наказание.

Я засыпаю, как только поезд трогается, с чувством вины и крохотной надеждой.

А проснулся — никакой надежды. Слабость. Брел от трамвая по своему переулку еле-еле. То ли обманули меня, то ли обманул я сам, показалось мне, что обещали разобраться, ничего, кроме ощущения оставленности, предоставленности своей судьбе не на время, не на пока разберемся, а, я бы сказал, на без отклика, как в глухой степи. Умели же придумывать такие вот слова! Ну какая же степь глухая — вроде звенит, сияет простором, поди ж ты — глухая. И ведь сразу чувствуешь о чем.

Врача вызвали ко мне сразу же, а он — «скорую». Немедленно в больницу! Там анализ за анализом. Пригласили даже консультировать профессора, с ним пришел еще — у него под халатом на плечах вырисовывались погоны, ниже халата я не видел — в сапогах или ботинках — трудно было поднять голову, и никакие уколы не

приносили облегчения. Врачи первым делом оттягивали мне веки и переглядывались — типичная, мол, картина. Как будто они сами нарисовали эту картину, кто оттянул — тот и художник. Военный интересовался — где? С чего бы ни начинал, а получалось — где бывал, где отдыхал и где еще мог или собирался. Понятнее понятного — выяснял, не забрел ли я вдруг под источник жесткого излучения. Тогда я и догадался про лейкемию, которая образовалась у меня, и еще догадался — им надо успеть узнать, что к чему, пока я с ними.

У родных тоже подоспело спешно дело и тоже пока я с ними — обмен жилплощади. Нашу с женой однокомнатную да комнату разведенной дочери — на трехкомнатную квартиру. По правде, мы давно об этом поговаривали, но варианты не нравились ни нам, ни дочери. И вот, якобы неожиданно, подвернулся очень заманчивый обмен. Я-то помнил, что из старых, отвергнутых: дочке не нравилось — первый этаж, мне — отсутствие подсобок, куда бы я мог приткнуться рыболовные снасти, приходящему зятю — не солнечная сторона. Теперь они стремились только бы успеть, пока я с ними. Ну а мне оставалось им подыгрывать: ах, ах, как удачно! Для каждого случая свой стереотип поведения. Умиравший не должен подавать вида, что знает свое положение, что понимает обман, которым его окружают, и из последних сил участвовать в нем. Тогда он будет считаться правильным или даже передовиком в этой специальности. А тот, который не скрывает своей осведомленности, озлобляется, умоляет: спасите! — явный бракодел.

По тому, как они поглядывали на меня с сомнением — успею ли я подписать все бумаги и присутствовать на получении ордеров, по тому, как они день ото дня все чаще замечали, что я лучше выгляжу и наверняка после новоселья поднимусь, отправлюсь на рыбалку, выходило, что ой как мало осталось мне быть с ними. Помнится, у нас на производстве в местном комбинате

Могилкин Гроб Иванович — так его прозвали, на самом деле Глеб Иванович, по фамилии то ли Малинкин, то ли Мотылкин. Прозвали же потому, что его посылали навещать тяжелобольных. Посылали из-за его душевности, из-за отзывчивости, и, кроме того, болтали злые языки, из-за точного глазомера — безошибочно определял, какой длины в случае чего потребуется гроб. Выздоровливающие подтверждали, что ловили на себе его примеривавшийся прищур. Похожие прикидки замечал и я во взглядах врачей и родных. Сам уже не надеялся, что успею за ордером. Не знаю, почему не сказал, не описал того, что произошло на озерце под ...анском, даже, наоборот, называл места по реке, где будто рыбачил, совсем по другую сторону города. То ли следовал запрету, то ли добровольно так поступал, надеясь, не оживет ли оголхшая степь.

Я дождался, она ожила. Я почувствовал, что оставленность кончилась, почувствовал, еще не отдавая себе отчета, так, возможно, настораживается собака, не понимая отчего. Только потом она начинает улавливать знакомые шаги хозяина.

Я дождался, за мной вернулись: мягко, как бы с сожалением о случившемся, с печалью и обещаниями. Нет, не думайте, что все обозначилось в четкой форме. Приходилось вам слышать момент подключения телефона — держите около уха мертвую, молчащую трубку, и вдруг она оживает, хотя и молчит по-прежнему. Я воспринял подключение всем телом, прежде чем осознал его, а обещания, сожаления — как живой пульсирующий фон в телефонной трубке. И снова призыв к поступкам, подталкивание. Стараюсь уловить подсказку, но ее нет. Должен сообразить сам? Фон как будто подтверждает, усиливаясь. Бежать из больницы? Фон гложет вполнуину. Остаться в больнице до самого конца? Еще глуше. Значит, нет. Ага, выписаться? И да, и нет. Оказывается, выписаться, но не просто.

Дальше мы уже договариваемся быстрее. Проситься домой, а не попадать домой. Куда же?! Соображай сам. На вокзал? Да! Неужто ...анск? Да! Да! И вылечите?! Спасете?! Угу!

Как хотите думайте, но в телесном фоне внутри меня произошло именно то, что можно перевести лишь благодушным докторским «угу». Таким «угу» врач полностью ручается за пустяковость недуга и свое непреложное умение побороть его.

Угу! Но во всех остальных ответах были только «да» и «нет». Мы уточнили все. Осталось лишь одно сомнение: хватит ли у меня сил на выполнение нашего договора? Хотя очередное «да» как будто его отметало, сомнение осталось — чувствовал я себя уж очень слабым тогда.

Деньги родные мне дали безропотно — я сказал, что хочу отблагодарить сестер и нянечек. С моим капризом долечиваться дома (умирать — читал я во взглядах) согласились чуть ли не с восторгом: облегчалось успевание с обменом — я все время под рукой, как получать ордера — погрузили меня в такси, и готово. Одежду принесли заранее. С больничным начальством договорились легче легкого — на четверг.

А в среду в утренний обход главврача, когда она оттянула мне веко и не успела еще переглянуться с моим куратором Никой Евсеевной, милейшей женщиной, я заявил, что мне необходимо выписаться немедленно, сейчас же, потому что мой зять, тот, приходящий, срочно выезжает в командировку во второй половине дня и через час будет с машиной. Кроме как ему, у нас перетаскивать меня некому, поэтому они, врачи, должны войти в мое положение.

И они вошли. И главврач, и Ника Евсеевна, милейшая женщина, так как понимали, в любой момент жди от меня подвоха — повышу нежелательный процент больничной статистики на сотые, а то и на десятки доли. Мне тут же, как и следовало по плану, принесли

одежду. Принесли, а я струсил, что не смогу одеться, не хватит у меня на одевание сил. Однако хватило — тютелька в тютельку, как будто мне их отвесили на аптечных весах. Израсходовал до капельки. Как же теперь выйти из палаты и дойти до вестибюля? Отвесили опять.

Нянечка держит меня под локоть и смотрит на меня искоса с философским пониманием: вон как стремится человек к своему привычному жилью, все еще верит — помогут ему родные стены. И потихонечку вздыхает: сколько я перевидела таких-то, где они? А мне и на следующий переход незаметно подкинули.

— Нянечка, — стараюсь точнее подыграть ее настроению, — я уж на крылечке зятя подожду, на воздухе мне полегче.

Она выводит меня на крыльцо, подводя итог своему философскому внутреннему монологу: «Нигде тебе, милый, теперь не будет полегче, а все потяжелее», — прислоняет меня к парапету и возвращается надеть пальто. Тут во двор сворачивает такси с зеленым огоньком, и шофер, явно недоумевая, что это с ним творится сегодня, распахивает дверку как раз в тот момент, когда я получаю порцию силы, чтобы отделиться от парапета, шагнуть к машине, плюхнуться на сиденье и подобрать ноги. Дверцу, продолжая недоумевать, захлопывает сам шофер. Его тоже ведут, как и меня. Степь. Почему-то после ощущения брошенности в глухой степи я не могу называть это по-другому. Меня ведет степь, которая шумит во мне едва слышным призывом. Сейчас я сочувствую ей — трудно вести сразу двоих. Ощущаю ответ — трудно. Еще одно отклонение от «да» и «нет». Трудно, словно по степному ковылю покатила вдалеку едва заметная волна.

На вокзале мы крепенько воткнулись с нашим планом. Все пошло наперекосяк, и самое опасное — образовался катастрофический перерасход сил. Мы не учли, оказывается, многого. По правде говоря, не учел я. Это я

полагал, что приобретение билета можно поручить носильщику. Мое мнение принималось без возражения и проверки. Бесчеловечные пассажиры не интересуют носильщиков, больным же они помогают только добраться до медпункта. Будучи здоровым, я не подозревал, каким роковым может оказаться для меня вокзальный медпункт. Опасение, что я попаду в гуманное это заведение, чуть не отняло у нас остатки сил. Вдруг кто-нибудь заметит, что ты больной. Больным полагается лежать, а не раскатывать в поездах. Хорошо еще — на вокзалах люди не успевают приглядываться друг к другу. Хотя у меня и были документы, что я выписан из больницы, но в них значилось подчеркнутое: «постельный режим». Прибавить сил? Нет! Убрать хоть бы бледность? Нет! Что же делать... Подталкивание, думай, дескать, сам! Если. Что, если я буду излучать алкогольный запахок? Да! Я тут же начал выдыхать и побрел к кассе, силы мне уже снимали с аналитических весов или, может, с молекулярных.

Выпивший человек — не больной, даже похвально, что он покидает город. Но на кассу, стояние в очереди затрат энергии не предусматривалось, на передвижение к вагону — в расчете на помощь носильщика — тоже. Перерасход. И на выдыхание, хоть и атомы, да ведь атомы по закону сохранения вещества не берутся из ничего.

В вагоне, пока соседи не усекли — не больной — выпивши, пошло в расход никак не меньше пятка атомов. Шучу сейчас, а тогда висела моя жизнь на паутинке. Хорошо еще, отказались от части плана — позвонить зятю и сказать, чтобы не беспокоились, что один врач пообещал мне облегчение и отвез к себе... тут вроде как сделал рычагом щелчок, помолчал, сказать: позвоню еще, и повесить трубку. С расчетом — получится впечатление: какой-то врач взял к себе... в больницу. Поскольку зять приходящий, он вполне мог передать это сообщение, усилив его убедительность. Ему же выходило облег-

чение — не возиться со мной завтра, не прошел и запасной вариант — подать телеграмму с ...анского вокзала. Иссякли силы.

Так мне и осталось непонятным, почему в больнице, в сотнях километров от озерца за гривкой, получить силы было легче, чем здесь, рядом. Мы погибали вместе со степью. Было ли сказано, придуманы ли позже, когда отшумела степь, два слова. Слово запас и слово тень. Запас — в больнице, тень — здесь, на вокзале в ...анске. У нас иссякал запас из-за непредусмотренного перерасхода. Тень кончалась на половине подъема к гребню гривки. То, что надо достичь половины склона, я знал уже тогда, не придумал потом. Только и жили тем — к гривке!..

Сколько раз, еще совсем недавно, ходил я здесь через сортировочные пути к задворкам фабрики, задворками. Странное дело, где только не встречаются такие задворки с погибающим металлом! И на задах маленьких фабричек, колхозных мастерских, и у крупных заводов, горюхов. У каждого задворка есть своя заветная тропинка, которая ведет сквозь заваль маховиков, валов, гигантских шестерен, кучи стружек, в обход луж и ям с мазутом, сама выкованная из ржавого металла, но непременно растворяющаяся в природе, как только кончаются задворки. Обок мерзости мелькнет травинка, лист подорожника, чертополох, прорежут полянкой аптечные ромашки, и уже ты вступишь в осиновый перелесок, тропинка рассыпается веером — выбирай торфяную ли, глинистую ли... Кузнечики играют встречный марш.

Уберут состав с главного пути, тронусь напрямик... Убрали состав... Не вздремнуть ли на перронной лавочке. Лезет в глаза вывеска: медпункт. Двинулись. Шаг с перрона на шпалу, шаг через рельс, три шага по шпале — шажки! Шаг через рельс — один путь позади. Шесть шагов: два по щебенке, два по убитой земле между полосами щебенки, два по щебенке. Снова — рельс. Кто счи-

тал, сколько путей на железнодорожных сортировочных узлах. Хорошо еще в ...анске они почти заброшены, грузовой поток с недавнего времени идет по новой ветке, на нас вряд ли обратят внимание. Говорю на нас, а если кто и смотрел тогда со стороны, как мы вместе, цепляясь друг за друга, вытаскивая, поддерживая и ободряя, преодолеваем пустыню сортировочных путей, он видел одного меня.

Удача, какая удача! — кончилась щебенка, шпалы лежат на земле, два шага по щебенке равняются восьми по земле! Здоровье — это когда не знаешь, что значит считать шаги.

Так тянут друг друга альпинисты в одной связке на стене с отрицательным уклоном. Доведется вам вскочить на рельс, балансируя руками, пробежаться по нему. — вспомните меня и представьте, как я, мы отдыхаем несколько минут, чтобы перенести одну ногу через один рельс. Когда представите, знайте — это полный упадок сил. Представьте еще, что и сохранять вертикальное положение — усилие, видеть рельс — тоже. Ползти, возможно, было бы легче, но мы знаем, что поползем лишь после задворков, в осиновом перелеске по торфяной тропинке. И вот уже навязывается миражем торфяная тропинка. А мы еще стоим над очередным рельсом. Преодолеть мираж требуется усилие. Плакать? — напрасный расход сил. Мы теряем сознание по очереди, но не даем упасть друг другу, словно подталкиваем готовый остановиться маятник. Торфяная тропинка в перелеске. Она мнится желанным берегом, и невозможно признаться себе, что это только промежуточный этап,

Из преодоления задворков помнится двухосная тележка железнодорожного вагона. Она давно выросла в землю, почти до уровня осей. Тропинка проходит как раз посередине тележки, где сквозь ржавчину проглядывает отшлифованный подошвами прохожих серый чугуун. Я раньше тоже без всяких усилий вскакивал на этот

отшлифованный участок, как на высокую ступеньку, и перешагивал тележку настолько легко, что даже и не помнил, что она стоит поперек тропинки. Теперь она оказалась грозным препятствием. И не обойти ее — с одной стороны заваль разбитых, почерневших от дождей ящиков из-под оборудования, с другой — пуки колючей проволоки в зарослях лебеды. Даже попытками нельзя назвать беспомощное наше карабканье на тележку. Вряд ли нам удалось бы преодолеть ее. Тут я услышал звон шагов, навстречу нам по тропинке шел рыболов со связкой удочек и живцовой бадейкой. Мы с ним встречались на здешних ближних водоемах. Был он из неразговорчивых рыболовов. Вопреки мнению несведущих, которым кажется, что рыболовы все как есть молчуны, по-настоящему неразговорчивых среди них чрезвычайно мало. Когда рыболов встречается с рыболовом, разговоров не оберешься, с посторонними же праздными любопытными какой разговор. Этот на самом деле был молчуном. Раньше я не слышал от него ни одного слова, и здесь он проделал все молчком. Подсадил меня на тележку, перевел и помог сойти с нее, убедился, что не упаду, и отправился восвояси. Появился в моем полусознании и растаял без звука.

На торфяной тропинке в осиновом перелеске я упал, чтобы ползти, как мы рассчитывали, для облегчения. Оказалось же невозможно сдвинуться с места — мягкая почва не давала опоры. Исчерпались последние силы. И мои, и степи. Почти неуловимым стал шелест, но шло от него мне в мысли, что проверено и установлено по самой точной науке — нам не дойти вдвоем, и оттого, что не моя во всем вина, последние крохи степных сил будут отданы мне, а она, степь, прекратит свое существование.

Но я приказал: нет! Я сказал: подожди со своей наукой. Есть еще у людей такая способность — действовать через не могу. Всем приходилось слышать, а кому и го-

ворить эти слова. Не могу? А ты через не могу! Говорят их обычно детям, чтобы знали потом всю жизнь — так бывает. Существуют же они в языке с незапамятных времен, значит, случалось, свершалось, когда наступало безвыходное время.

Наступило оно и для меня, здесь, на торфяной тропинке: уносить от гибели степной шелест, уходить от своего небытия из тени. Нет тут рецептов. Неизвестно, как можно заставить полностью исчерпавшее силы свое тело подняться и двигаться, и достигать. Не знаю и я. Наступит ваше безвыходное время, вы сами совершите свое через не могу.

И степной шелест взбодрился, я не переставал слышать его, когда вставал, встал и пошел, не останавливая шаг. Рухнул я, толики не дотянув до края тени на склоне гривки.

В приключенческих фильмах часто показывают такую ситуацию крупным планом — тянется рука, царапая землю, чтобы дотянуться, схватить, и, если она принадлежит отрицательному персонажу, не дотягивается, дотягивается обычно рука положительного персонажа. Я поступил как положительный персонаж. Окрепший шелест степи подкинул мне кроху силенок, и я ухватил пучок травы за краем тени. Потекло в меня оживление. Чем больше я выдвигался вверх по склону гривки к березке, тем чувствительнее было возвращение здоровой телесности. Блаженство, сравнимое с блаженством разделенной любви. Степной шелест будто порхал вокруг с ликованием.

Дальше — просто. Здоровье возвращалось постепенно, но быстро. К вечеру я бы мог подняться, но не полагалось — шелест запрещал, стихая, и я пролежал на склоне всю ночь. Мягко, тепло, покойно, а не спал: оттого, что не хотелось заспать такое блаженство, но не исключено, что сон не способствовал бы успешному ходу процедур. Они менялись в неожиданном ритме, и каждая

не походила на предыдущую, хотя их можно было считать массажами — то крови, то костей, то нервных волокон, и все они лишь умножали блаженство.

Рано утром я поднялся на ноги и направился на станцию подавать телеграмму согласованно ошарашивающего содержания: «Нахожусь ловле рыбы ...анске ждите завтра». На выходе из перелеска я чуть-чуть не столкнулся с молчаливым рыболовом лоб в лоб. Он нес свои удочки и бадейку, словно драгоценные экспонаты на выставку, и на лице его не появилось никакого движения. Он уже свернул на глинистую тропинку, а я лишь вступал с развилки на железную задворочную. Встретить, идучи на рыбалку, человека без ноши — плохая примета, допускаю, что молчун не заметил меня на самом деле.

На задворках я радовался каждой торчащей загогулине, зарослям крапивы, даже больше, чем первым шагам на склоне гривки, солнцу, облакам. То было возвращение к биологической жизни, в биосферу, здесь — к общественной, даром что через ее отбросы. На тележке дважды сплясал чечетку — один раз, когда шел подавать телеграмму на вокзал, другой, когда возвращался обратно. Ждите завтра — означало, что мне предстоит еще целые сутки курации.

На этот раз вечером и ночью мне полагалось спать, лишь один раз, на закате, меня как будто разбудили специально. Проснулся, взглянул, что заходит светило, и тут же блаженно заснул снова. Но на кратком переходе от вечернего сна к ночному состоялось мгновение полной ясности, я знал все и обо всем, понимал до пронзительности, показалось, запомнил сразу и буду так же знать и понимать после пробуждения. Держал эту ясность при себе всю ночь, так дети спят в обнимку с полюбившейся игрушкой, чувствуя ее и радуясь ей во сне.

Утром я вскочил, чтобы обозреть снова округу все виждащим, все понимающим радостным взглядом. Радость —

да, она по-прежнему жила во мне. Остальное — нет. Полагалось лишь на миг, на вчерашнем закате, как последняя процедура, для полного излечения. И радость не померкла, может быть, оттого, что за тем откровением абсолютного знания брезжила вдали печаль?

Шелестела степь, перевод для меня сложился опять в неожиданном стиле: двигай, двигай, друг! Я двинул, не задумываясь, без оглядки, опомнился, только перемахнув двухосную тележку. Как так — и не поблагодарил даже! Хотел было отвесить с тележки поклон в сторону осинового перелеска. Двигай, двигай себе, — отшелестела степь благодушно и ласково. На сортировочных путях я опять повстречался с молчаливым рыболовом, он шел далеко в стороне и не смотрел в мою сторону.

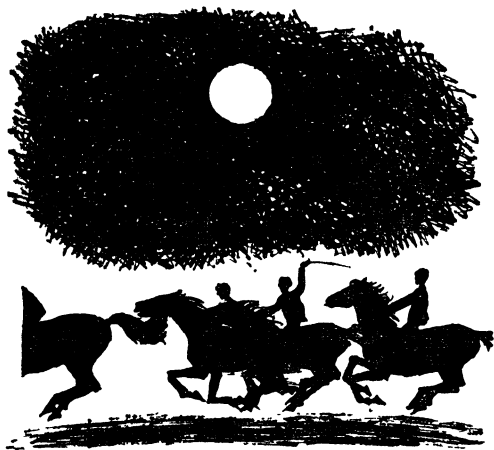
Добавлю совсем пустяки. Обмен мы, конечно, поломали до более подходящего варианта. Мое выздоровление огорчило, и то немного, одного лишь приходящего зятя, а больше всех обрадовало участкового врача из районной поликлиники. Он очень любит приговаривать: «Да-а, орлы на жердочке».

— Да-а, тянет, орлы на жердочке! — вроде в пространство, и тут же тебе: — Постель, горчичники, ноги парить, чай с малиной.

Пришел он без вызова по бумаге из больницы. Оттянул мне веко.

— Да-а, — сказал, — орлы на жердочке! — и не в пространство, а бумаге из больницы, запихивая ее в портфель, и мне: — Бегать, плавать, туризм, альпинизм и все остальное, и сколько угодно.

Момент же, когда я перестал слышать степной шелест, прошел для меня незамеченным. Будто слышал еще долго, а когда он прекратился, не знаю, теперь его нет. С другой стороны, зачем он мне? Говорят, шум в ушах — от малокровия.



САМОРОДОК, ЛЮДИ И ЛОШАДИ

У каждого есть на памяти — и помнится, и представляется в подробностях, а рассказать не о чем. Нет фавулы. Так и у Петра Викторовича с этой поездкой — пикником на берег Томи, вверх, подальше от города. С отцом, с матерью, и сам он был тогда еще Петей. Ездили на дрожках, мать с отцом на заднем сиденье, а он, Петя, на облучке, рядом с кучером Суховым.

Были тогда годы первых строек в Сибири, первые брони на московские квартиры, первые повышенные оклады для выезжавших на стройки специалистов. На местах сразу квартиры и личный транспорт — кучер по договору, со своей лошастью и ходом — дрожками, или тарантасом, или даже линейкой, все, естественно, за казенный счет — оплачивала бухгалтерия строительства.

На лето к специалистам приезжали семьи, а к некото-

рым на все время, и они переводили туда учиться детей. Петра Викторовича, который был тогда еще Петей, не переводили, привозили только на лето, и вообще то лето было первым — все в новинку, особенно лошади. Ребята постоянно крутились около конюшни. Те, у чьих отцов был личный транспорт, хвастались своими конями. Хотя, по общему признанию, лучшим был конь у сухорукого Жорки, сына главного инженера, коричневый жеребец, лоснящийся, упитанный, был он одноглазый и не совсем жеребец, а нутрец. Его предназначали в мерины и наполовину этого даже достигли, потом лишь оказалось, что полностью не выйдет в мерины. Нутрец! Все ребята это точно поняли, разобрались, объяснили друг другу, уточняли у конюха Ахмета и успокоились, когда не осталось вопросов даже у малолетнего брата сухорукого Жорки. Его старшим сестрам, дочерям главного инженера от первого брака, конечно, не рассказывали, не объясняли, они только катались на одноглазом жеребце иногда по выходным дням, жеребца специально для этого седлали — брали у Ахмета единственное седло на всю конюшню — и приводили к дому главного инженера. Ребятам тоже выпадала очередь прокатиться в седле после девушек. Основное же катание для них было по вечерам, когда лошадей с конюшни перегоняли на пастбище в ночное и, разумеется, без седел. На оседланной лошади в ночное выезжал конюх Ахмет, он и оставался с лошадьми на всю ночь, ребята же, спутав своих коней, возвращались домой, уверяя друг друга, что совершенно ничего не растерли. Может быть, сухорукий Жорка и не растирал — у нутреца спина была как кресло, у других же лошадей хребет давал себя знать, и парные ссадины больно прилипали к штанам, провоцируя ребят на кавалерийскую походку. Поэтому все наперебой показывали на обратном пути, как ходит на своих кривых ногах Ахмет, уверяли, что они выгнуты специально по лошадиным бокам, для чего Ахмета, как и всех казахских

мальчишек, в детстве подсекали — подвергли специальной операции — надрезали пятки и в надрезы засыпали конского волоса. Дескать, хочешь не хочешь, а когда заживет, будешь ходить на внешних сторонах ступней, в пятках колются вросшие в мясо волоски, не наступишь на пятки прямо, и ноги сами по себе становятся колесом. Правда, никто не решился проверить эти сведения у самого Ахмета, тем не менее все завидовали его кривоногости, жалели, что их не подсекали в свое время, уж наверное, не было бы у них этих саднящих и стыдных потеростей.

Никакого прямого отношения все это не имело к тому, что случилось с Петром Викторовичем во время пикника, а вот представлялось так навязчиво, как будто имело отношение. Петр Викторович понимал, что из-за Сухова, из-за его кобылы, но ведь не станешь же к самородку приплетать суховскую кобылу. По мнению всех ребят, она была очень похожа на самого Сухова, а Сухов на свою фамилию. Щуплый, серо-седенький, с блеклыми глазами, очень скучный. И кобыла была скучная, грязно-белого цвета, костлявая, с выпирающим хребтом, — Петр Викторович только один раз попробовал на ней прокатиться верхом и только по двору конюшни, а ссадины получились посолидней обычных вечерних, и Петру Викторовичу пришлось на несколько дней отказаться от поездок в ночное. Отличалась суховская кобыла и еще одной неприятной особенностью — она секлась. Гораздо чаще лошади засекаются — задевают на бегу копытом или подковой бабку другой ноги, с годами на месте засечки нарастает черная бородавка. Суховская же кобыла секлась — у нее трескалась кожа, и не в определенном месте, а где попало. Вдруг, непонятно почему, по шерсти у кобылы текла струйка крови, застывала, чернела, потом в другом месте вытекала струйка: щеголяла кобыла сплошь в черных потеках, которые облепляли черные мухи. Секется, однако, говорил Сухов.

Отец же Петра Викторовича чуть не восторгался своим личным транспортом и любил вспоминать, что все не обратили внимания на Сухова с его кобылой, когда выбирали себе лошадей, а он вот выбрал и не прогадал, наоборот, теперь самый безотказный транспорт оказался у него.

Петр Викторович, еще будучи тогда Петей, заметил, как люди, выбирая, словно подбирают к себе. Главный инженер, сам гладкий, большой и красивый, выбрал гладкого блестящего нутреца, безотказный работающий отец — безотказную суховскую кобылу.

И всегда, стоит лишь Петру Викторовичу представить пикник на берегу Томи, как в голове замелькают подробности одни мельче других, да еще ярче, выпуклее основного события, как его с годами стал называть Петр Викторович — самораскупоривания самородка. Небось так вот и думал о нутреце да кобыле, когда ехал рядом с Суховым на облучке вверх по Томи, и, конечно, еще об инженеровой дочке. Поэтому дорогу от города до паромна Петр Викторович совсем не помнит.

Как будто проехали гостиницу и сразу же съезд к перевозу. На самом деле кобыла трусила до перевоза часа полтора, если не два. Паром загружался на той стороне, и Петр Викторович, засучив штаны, бродил по песчаной отмели, а отец собрал сухой промытый песок с мысочка и завязал в носовой платок. Тут откуда-то подвернувшийся рыжий мужик с бородой — тоже, может быть, ждал парома, — стал с хитростью уверять отца Петра Викторовича, что золота тут нет и быть-то не может, потому что здесь нигде близко нет никакого золотишка. И до того он был хитер, что даже не слушал, как отец, несколько напуганный, старался объяснить, для чего он взял песок, — для строительства, там определяют, может, этот песок годится для приготовления раствора. Но рыжий хитрил все сильнее и все ласковее убеждал, что нету в этом песке золотишка. И Петр Викторович видел — еще

немного, и отец, может быть, высыплет набранный песок в реку, а он, Петя, может быть, набьет им полные карманы. Уж очень хитрил рыжий. И не он один.

Хитрили еще парни-колхозники, работавшие в поле недалеко от места пикника. Они подошли после того, как Сухов распряг свою в кровавых полосах, словно зебра, кобылу, спутал ей передние ноги, мать Петра Викторовича расстелила на траве в тенечке клеенку, заставила ее посудой и свертками, а отец развел костер и повесил чайник, — подошли, принялись шуриться вполхитра, вот, дескать, всей семьей привал сделали и с лошадкой, с дрожками, как будто дрожки или зебристая кобыла могли не принять участия и действовать самостоятельно, особенно дрожки. Потом, потихоньку нагнетая хитрость, переключились на оценку извлекаемых из свертков продуктов, так, как будто сроду не только не пробовали, но не видали и лишь догадываются понаслышке, что это вот булочка, а то сахарок, селедочка. Если бы существовал счетчик хитрости, он бы за это время перепрыгнул с полхитра через полтора, два хитра, и стрелка застыла бы около трех хитров, в момент, когда на свет появилась из укутанной кастрюли горячая картошка. Уж картошка-то казалась совершенно недоступной их пониманию. Счетчик же юмора или шутки, если его подключить к тем парням, не дрогнул бы ничуть, даже самый что ни на есть рентгеновский. Так думал тогда Петя, так считал потом и сейчас считает Петр Викторович. Никакого шутовства, хитровство. Не ради шутки, а ради одной только хитрости, не замутненной никакими добавками, шла болтовня. Так вот, парни примерно на шести хитрах тоже заговорили о золоте, что никакого золота в их краях и искать нечего, нет здесь золота. Петр Викторович удивляется, как это он тогда, будучи Петей, смолчал, ведь они с Суховым после парома, уже на этой стороне, переехали через два ручья и проехали мимо нескольких родников, на каждом из них был устроен

желоб, чтобы получился водопадик, под который удобно сунуть таз с породой и промывать золото, около каждого желоба лежали кучи песка с гравием — пустая порода, все как на Клондайке по описаниям. Мать и отец старались отвлечь парней на другое, шутили, приглашали покушать вместе, чайник как раз вскипел, но те так и ушли, нагруженные ворохами хитрости и заверениями о бесполезности поисков здесь золота. И опять Петя утерпел, и Петр Викторович гордится такой рано появившейся осмотрительностью, не бросился сразу же искать золото, дождался, пока все не устроились подремать после еды — отец с матерью на байковом одеяле в тени деревьев, Сухов под дрожками на вынутом из задка кожаном сиденье и на самом деле задремал, дремала на солнышке и кобыла, лишь изредка подергивая кожей, чтобы согнать мух.

Тут подробная, мелочная картинность меняется, исчезает яркость, и получается, будто Петр Викторович не вспоминает про самого себя, а чей-то рассказ о другом Пете, не видит, а прочитывает, как Петя вышел на край скалистого обрыва к берегу реки и, недолго думая, спустился, обдирая колени, натыкаясь руками на колючки и шипы, может, это совпадало с прочитанным о путешественниках, золотоискателях, кобыла же не совпадала с прочитанным, и Сухов. Петя потому спустился к реке, что читал про Клондайк, вот теперь и вспоминается, путаясь с прочитанным. Говорят — книжная речь, здесь же — книжное зрение. Многие замечали, если начитанный человек и рассказывает свое, его незаметно сносит на литературу, хоть он и понимает, что сносит, а уж выплыть на чистое свое не может. Оказывается, литература врезается в память еще до всяких своих впечатлений. Вот почему Петру Викторовичу и кажется, что нет фабулы, своей нет, не заквашенной на литературе, а он не хочет единственное такое событие в своей жизни сохранить для самого себя, как ряд картинок в книжном сти-

ле, вот почему он отбрасывает то, что сравнялось с чужим, и хранит лишь четкие, не тронутые привнесенным свои события, отсюда и неуклюжее словосочетание — самораскупоривание самородка. Глупость, конечно, мальчишество, зато свое, а не читанная всеми литература.

Событие, если отбрасывать всякое на что-нибудь похожее, начало зарождаться с того, что Петя почувствовал себя в смешном положении перед самим собой: обдирался на камнях, сползал с обрыва и, может, рисковал немного, вдруг сорвался бы? Но слез, и что же, что он на берегу у самой воды? А искать как? Искать золото чем? Стыдно и смешно, и полное сознание своего опьяняющего мальчишества, и солнце, и прозрачная вода у ног. Какое там золото, смешно до коликов, разве его так найдешь! Очень смешно. Ну а раз потеха, так потеха — надо искать самородки просто, без ничего. Немедленно и стыд прошел, весело от озорства, бродит Петя вдоль берега и сквозь тонкий слой воды разглядывает: камень или самородок? Петру Викторовичу и сейчас приятно представить, как играют солнечные блики на камешках под водой — сплошь самородки. Вытащит из воды — нет, не самородок, камень, а это? Это-то неужели камень? Каждый раз сказочная надежда, каждый раз веселое разочарование, и очередной самородок летел в реку. Игра как игра, но в ней уже присутствовало ожидание, потому что Петя — и это Петр Викторович помнит абсолютно точно — часто поглядывал на то место среди камешков: и когда не добрел до него, и когда брел над ним, и когда оно осталось сзади, он как раз возвращался к нему, как началось это самораскупоривание — из воды медленно выпучился столбик воды же толщиной с Петин кулак, высотой на глубину в этом месте. Поднимался из воды столбик воды, но в столбике она выглядела остекленевшей, подпирала столбик кучка камешков с песком и с самородком с самого низа. Петя

сразу же понял, что не зря только сейчас называл все камни подряд самородками, он, значит, чувствовал его появление заранее. Потом, много лет спустя, Петр Викторович сравнивал такое неосознанное и в то же время уверенное ожидание с тем предчувствием поклевки крупной рыбы, которое вдруг охватывает рыболова: еще и поплавок не шевельнулся, а рыболов знает — вот сейчас! И на самом деле происходит, как предчувствовал рыболов. Но в том мальчишеском: самородок! в торжествующем утверждении также с годами проявлялась для Петра Викторовича и доля неуверенности, которая запала в сознание при первом же взгляде на то, что Петя называл самородком, — в нем брезжило что-то не от природы, но не искусственность, а неуловимое несоответствие сути слова, хотя ни Петя, ни Петр Викторович настоящих самородков, кроме как на фотографиях, не видел и свои сомнения вполне мог бы отбросить, а не лелеять их так долго. В мгновения же события самородок воспринимался Петей только как самородок, да и были ли мгновения? Была ли хоть какая-нибудь длительность? Промелькнуло сразу, а сознание расчленило на мгновения, в которые виделось, как столбик выпирающей воды сровнялся с поверхностью основанием, потянул с поверхности струйки, словно нити из тонкого покрывала, часть их рвалась сразу же, остальные, растягиваясь, поднимались за столбиком, образовали у его основания кольцо сосулек, которые вдруг одновременно стекли по нитям в реку и стянули за собой всю воду, не стало столбика, на самородке держались лишь камешки, но и они ссыпались тотчас, будто самородок стряхнул их и, набирая скорость, понесся ввысь, самораскупориваясь. А как еще было назвать мальчишке то, что он видел и слышал собственными ушами? Только-только остекленевшая вода растеклась и соскользнула назад в реку, раздался звук раскупоривания бутылки, когда же самородок вознесся, получилось, словно на его

пути стояла вертикальная колонна бутылок и их подряд, со скоростью движения самородка, раскупоривали, даже когда он скрылся с глаз, раскупоривание, хоть и затихая, доносилось еще некоторое время. Причем раскупоривание самое обыкновенное, бутылок с простым вином, не с шампанским и даже не с квасом. Эту последнюю оговорку Петр Викторович стал прибавлять про себя сравнительно недавно, уже после войны, потому что однажды вдруг отчетливо представил домашний квас, который мать разливала по бутылкам, положив в каждую по несколько изюминок, а они с отцом — мужская работа — закупоривали бутылки. Но пробки все равно иногда вышибало, или рвало сами бутылки, и преимущественно по ночам. Зато уж квас был так квас, не надо и шампанского. Внедрил же квас в воспоминания о самородке совершенно обывательски: ракеты делаем, лунники, а чепуху, квас с изюминкой — руки не доходят, так и соединилось: ракета — взлет, взлет — самородок — звуки раскупоривания, но не громкого, как квас по ночам, тихого. Оттого и спаялось с квасом — от обратного. И все же не фабула, только самому себе, так каждый что-нибудь себе про себя рассказывает, перебирает цепи эпизодов, подправляет, выкидывает, как и не было, потом тревожится, будто потерял необходимую вещь. Сам с собой, наедине.

Конечно, к мнению, что нет фабулы и потому рассказывать нечего, Петр Викторович пришел не сразу, наоборот, у него сразу же вслед за последней еле слышно раскупоренной в поднебесье бутылкой начал чесаться язык, когда он, еще будучи Петей, стоял по колено в воде, глядя то в небо, запрокидывая голову, то на то место, откуда выпучился самородок, и понимал, что теперь в его глупом положении нет ничего веселого. Он нестерпимо захотел сейчас же рассказать папе-маме-Сухову, получить объяснение и хоть как-то успокоиться и не остаться навсегда в дураках. Ему сгоряча даже не

пришло в голову, что можно не остаться в дураках, если подождать, и если будет другое выпучивание, и если поймать самородок. К сожалению, дождаться не вышло из-за внезапно налетевшего дождя, тучи лезли из того клочка неба, куда раскупорился самородок, из-за дождя не вышло и рассказать отцу с матерью, а Сухов, с которым Петя сидел на облучке, накрывшись одним куском клеенки, за всю дорогу ни разу не обратил внимания на его попытки завязать разговор, возможно, и не мог обратить — дорога раскисла, очень просто поскользнуться кобыле, еще проще опрокинуться дрожкам, однако. На пароме их настиг град, больно доставалось даже через клеенку. Некоторые крупные градины так шлепались в воду, что Пете все казалось — вернулся назад в реку самородок, но, окунувшись, градина подпрыгивала и плыла по реке.

Дома и вовсе было не до разговора — обсушиться, растопить плиту, чтобы обогреться и вскипятить чай, а там и в постель — поздно. Тем не менее Петя все-таки сумел рассказать матери, торопясь, сбиваясь и ожидая, что почти не слушавшая его мать наверняка скажет, что это была лягушка, и мать так и сказала: лягушка. Тут Петр Викторович шутит про себя, что странно, как это тогда совершенно не знали слова «некоммуникабельность». Ну а у Пети оставалась еще надежда на завтра, на конюшню, на общество мальчишек и Ахмета. Снова неудача — у общества хватало разговоров о вчерашнем граде, который разбил несколько окон, к одним влетел в открытую форточку, шлепнулся в чернильницу, прокатился по столу и растаял на скатерти. Вспомнили слышанное, прочитанное, и не только о граде — о лавинах, снегопадах, дошли до метеоритов, словом, перебрали все падающее, и, конечно, Петины попытки вставить свою историю о взлете отбрасывались автоматически. Потом Петр Викторович прикидывал, окажись Петя мудрее, он мог дотерпеть, когда исчерпается падающее,

перевести разговор на лежащее — те же метеориты, клады, глядишь, и выслушали бы про взлет-раскупоривание, и неизвестно, как пошло бы тогда дальше, по крайней мере, не сложилось бы у него, Петра Викторовича, комплекса насчет фабулы. Но, может, и не удалось бы, окажись Петя мудрее хоть в сто раз, вскоре явился сухорукий Жорка и потряс ребят своим сообщением, что его возили к врачу и тот взялся рассушить ему руку и уже начал. Все слушали только Жорку, а он так разошелся и осмелел, что по дороге до ночного то и дело пускал своего нутреца рысью, а на обратном пути без всякого стеснения спустил штаны и показал, какие у него ссадины, ребята тоже показали свои ссадины, самые внушительные ссадины оказались у Пети, и он чуть не стал равным по геройству самому Жорке. Но Петя поторопился — снова пустился рассказывать о самородке, его опять не захотели слушать и высмеяли, связав самородок со ссадинами, обидно и неприлично, и превратили бы в прозвище, заикнись он о нем еще раз.

Оставался Ахмет. Он слушал как будто сочувственно, и Петя радовался, что наконец нашел слушателя, который все поймет и объяснит и уж не скажет, что это была лягушка. Ахмет не сказал — лягушка, Ахмет сказал — ласточка и сплюнул своим знаменитым тонким и длинным плевком, которому ребята завидовали еще больше, чем кривым ногам.

Школьные приятели в Москве не говорили — ласточка или лягушка, они допускали самородок и самораскупоривание, но спрашивали: ну и что? а дальше? Так выявился недостаток фабулы, и Петя в конце концов замолчал. Даже, допустим, он натолкнулся на месторождение антигравитационного вещества, а дальше? Все имеет свое «а дальше?», которое складывается постепенно в историю. Это уже мысли Петра Викторовича, и он с тех пор много уже повидал этих «а дальше». Всякой фабулы, в том числе и связанной, хотя многим может пока-

заться, что и связанной для Петра Викторовича с самородком, начиная от конюшни. Стоит только подождать, и с течением времени выплывает и продолжение.

Вот, например, как продолжилась и кончилась история жеребца — не жеребца, нутреца — задумал он поозорничать в своей всегдашней манере, сделал вид, что испугался, шарахнулся, да в сторону слепого глаза, и ногой угодил в яму, переломил ногу, забился, опрокинул дрожки с седоками. Прискакал Ахмет с конюшни, прирезал жеребца, а тушу его выкупил на мясо себе, родне и знакомым, однако. Из седоков пострадала лишь дочка главного инженера — та, которая так привлекала внимание Пети, у нее получилось сотрясение мозга. Зато из больницы она вышла преображенной.

Здесь можно ответить, если кого-нибудь заинтересует, и на вопрос: ну и что? А то — дочка главного инженера стала такой красоткой, что парни в городе на Томи замирали на танцплощадке чуть не каждый вечер, когда она там появлялась, а в цирке, куда она ходила, кроме танцплощадки, в нее повлюблялось несколько гимнастов и борцов, один из которых и увез ее. Все это Петр Викторович узнавал постепенно, еще будучи Петей, от матери, потому что его больше не возили на стройку, а мать жила там почти все время и Петю лишь навещала, или из ее писем. Потом, гораздо подробнее, от сухорукого Жорки, с которым оказался в одном институте. Рука у Жорки успешно рассушивалась, и по окончании учебы он был даже признан годным к воинской службе — война уже шла, и его мобилизовали в один день с Петром Викторовичем. Они прожили несколько дней вместе на пересыльном пункте в Покровском-Стрешневе и спали рядом на одних нарах. А встретились снова лишь через три года после победы.

Еще в институте Жорка рассказывал свою любовную историю. Там, в городе на Томи, где вся их семья осталась напостоянно, он вдвоем с сыном директора Мишкой

Лещеевым ходили в школе за одной девчонкой. И потом, когда съезжались на каникулы. Только она и Мишка Лещеев приезжали на несколько дней раньше, Жорке каждый раз приходилось заново отвоевывать свое место. И тогда на нарах в Покровском-Стрешневе Жорка каждый день писал ей письма.

После войны тоже Мишка Лещеев вернулся первым. Но она ждала Жорку. И вот через три года они разыскали Петра Викторовича, а тот сразу понял по Жорке, что та самая — уж очень она не подходила к Жорке, Жорка к ней. Обычно так всегда выглядят партнеры, долго добивавшиеся друг друга, но иногда они бывают по-настоящему счастливы всю жизнь, чаще всю жизнь довольны: вот видите, добился того, что хотел, и довольствие выглядит вполне как счастье. Пожалуй, Жоркин случай был более распространенный, уж очень часто Жорка вспоминал при ней о том, что все же обошел Мишку Лещеева, и получалось: вот здорово обошли мы вдвоем Мишку Лещеева. То, что Мишка пытался мстить Жорке — продырявил, как они подозревают, Жоркину моторку, только добавило им самодовольства. Для Петра же Викторовича вдруг появилась надежда на «а дальше?» относительно самородка. Он понял из Жоркиного рассказа, что город за время войны рос и рос, растягиваясь по Томи и вниз и вверх, так что там, где был паром, теперь рабочий поселок, вместо парома—понтон, а еще выше, на той стороне — круча, Петр Викторович вспомнил про пикник, так под той кручей лодочные гаражи всего города. Кто осилил, выдолбил в круче пещеры — кладовки для моторов, кто сварил на берегу из листового металла ящики-сейфы с амбарнымиисячими замками, лодки у всех на воде. Также замки, цепи — это непременно. А под самым высоким обрывом Жоркин сейф с мотором и лодка. Петр Викторович вспомнил и кручу, где он сползал по-золотоискательски к реке, она оказалась самой высокой, когда он, спасаясь от дождя,

сориентировался — и правее и левее берег снижался, он разглядел там даже тропинки и взбежал по одной из них. Вот оно «а дальше?», вот она, фабула, наконец! Почему-то он совершенно уверился до того, как было сказано что-нибудь даже отдаленно похожее, что обязательно сейчас услышит продолжение. Если уж у кучера Сухова с его кровоточащей лошадью вышло продолжение, то как его не выйдет с самородком? Правда, такое продолжение никто не сочтет ни за какую фабулу или сюжет; но лично для Петра Викторовича продолжение, сюжет для него одного на свете, он единственный человек в мире обладает этим сюжетом с той студенческой поры, когда вдруг прочел на афише фамилию драматурга, прочел не как привычно читают фамилии, а вещественно, в образах: Сухово-Кобылин. Как будто подарили ему ключ от мироздания, веселись, мол, человек. И веселился. И сейчас помнит, будто лежит в кармане тот ключ и чувствует Петр Викторович себя на равных с мирозданием.

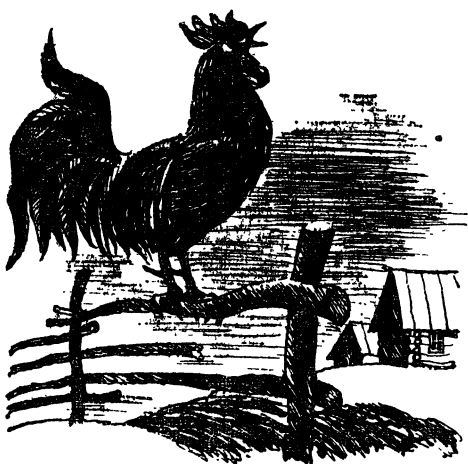
Зато Жорка с женой, как и предчувствовал Петр Викторович, подкинули ему настоящее продолжение. Вот что произошло, по их словам. Безутешный, обманутый в своих ожиданиях Мишка Лещеев хоть и женился, а все еще таил чувства и жаждал мести. Но виду никакого до поры своей не подавал и потом, когда продырявил Жоркину лодку, тоже не подал виду. Больше же, как ему, такое никому не сделать — лодка продырявлена снизу, дважды, может быть, с интервалом в несколько дней — времени ему хватало — Жорка с женой отдыхали на Алтае. У него, у Мишки, и акваланг и гидрокостюм. Поднырнул раз — сделал дырку, лодка затонула, но ему все мало, Мишке Лещееву, через несколько дней заныривает повторно, приподнимает лодку и опять снизу вверх делает вторую дырку. Никто, разумеется, не видел, а больше заподозрить некого. Главное, отверстия непонятно чем, каким инструментом, что по форме, что

по характеру, выглядят — словно снизу из воды сквозь дно проталкивали раскаленную болванку неправильной формы, через каждое отверстие особую болванку, совершенно по рисунку непохожи отверстия, одно одинаково — по периметру отверстий вытянулись металлические волоски или щетинки, стоят дыбом, как их расплавляла и толкала вверх болванка, так и застыли в воде. В одном пучке застряло всякого речного мусора, второй почище, поэтому они и считают: был интервал. Нет, никаким специалистам по металлообработке да и вообще никому ошетиленных дырок не показывали, так как любой специалист, неспециалист посоветовал бы обратиться к Мишке Лещееву, как самому большому знатоку в этом деле — начальнику сверлильного участка. Жорка сам вытащил лодку на берег, перевернул и наклепал на дырки заплатки, на случай же повторения Мишкиного злодейства они напеременку с женой устраивают внеочередные набеги к лодочным гаражам по будним дням и в разное время, а уезжают лишь тогда, когда, как вот сейчас, Мишка Лещеев в командировке.

Петр Викторович удивлялся и восхищался тому, как буквально на глазах крепла и даже освещалась внутренним светом связь двух совершенно неподходящих друг другу партнеров в браке только оттого, что существует человек, которого они, по их мнению, обездолили и подозревают в жгучем желании бесконечно мстить им. Разве можно рассказать этим людям, сотворившим себе фантастический мир, о более правдоподобной причине появления отверстий в днище лодки, о самораскупоривании самородка, о возможном месторождении антигравитационных тел? Даже если они не поверят, их иллюзорное счастье рухнет от малейшего сомнения, а так с годами все, даже самые причудливые и воздушные извивы миража счастья покроются окостеневшим панцирем семейного быта, и это счастье можно будет не только пробовать на зуб, но лупить по нему ку-

валдой. Вот только тогда наступит пора для открытий и самородков.

Они обещали писать Петру Викторовичу, они ему пишут, ведь Петр Викторович, выслушав их исповедь, стал вторым, не менее важным, чем сам Мишка Лещеев, залогом их счастья. Как ни парадоксально, кроме горечи, есть здесь для Петра Викторовича и что-то радостное. Не оттого, что он не нарушил их самодовольства, а оттого, что не предал гласности свою историю в незрелом виде. Со временем Петр Викторович укрепился в этом мнении и знает, чего ему не хватает для ее завершения — замыкающей фабулы о тех хитрецах на пикнике, а такая фабула обязательно должна появиться, неужто на этот раз поскупится мироздание: одаривало, одаривало, теперь же вдруг ни с того ни с сего и нет, не может же оно быть таким непоследовательным. Так Петр Викторович лукавит про себя сам с собой, хотя знает, что в мироздании никогда и ничто не доходит до завершающей ясности, самое большее — сверкнет лишь иногда намек, но продолжает лукавить, и выходит, как будто они лукавят на равных друг с другом, он и мироздание.



ОТЗОВИСЬ, КОМБАЙНЕР!

Из-за вашего журнала я вспомнил про последнюю делянку, когда увидел на развороте схемы и фотографии довоенных зерноуборочных машин. Даже удивительно, что не вспоминал до этого ни разу после госпиталя — ни Студента, ни его несчастный комбайн, который оказался напоследок даже умным.

Какая, если задуматься, образовалась пропасть между старым пониманием слов умная машина и нынешним! Сегодня представляется, что она решает вмиг интегральные уравнения, рассчитывает и вычерчивает эпюры или, на худой конец, играет в шахматы и одновременно переводит с нескольких языков. И то мы сомневаемся, спорим: интеллект? — не интеллект? А тогда, немного пораньше всего лишь лет на пятьдесят, косцы, глядя на жатку-самоскидку, которую волокла по

ниве пара коней, восхищались: вот ловка, вот умна! Человек, правивший парой, выглядел куда как глупее — держал вожжи да взмахивал кнутом, эка невидаль.

Машина же одной граблей наклоняла стебли с колосьями к ножам, чтобы подрезали, вторыми граблями в это же время скидывала скошенную охапку на землю, третьими замахивалась, словно высматривая, как половчее, над очередной порцией колосьев. Жатка-сноповязалка, кроме того, стягивала подрезанную охапку в сноп. Выходило еще умнее! И разве кто-нибудь сомневался, что умнее, хотя какой ум в примитивных передачах — цепях, шарнирах, шестеренках. Где ему там спрятаться, интеллекту? Не блоки памяти на диодах-триодах, магнитные ленты, лазеры-мазеры. Кто поверит, что шестеренки вдруг начали действовать самостоятельно, помимо человека и без всяких АСУ, кибернетики управлялись не хуже, чем выдающийся мастер уборки? Не поверит никто.

Однако такое однажды случилось, и я могу за это поручиться так же, как если б все произошло на моих глазах или при моем непосредственном участии. Подчеркиваю: управлялись не хуже. Вдруг вырваться на свободу и наломать дров, накрошить черепков способная любая примитивная машина. Что можно одернуть самым грубым образом даже сложнейшую забарахлившую машину — стукнуть, а то просто погрозить кулаком, знают все. И что это помогает, тоже известно.

Студент примерно так и начинал. Ноги отбил, пиная комбайн и по раме молотилки, и по хедеру, и по ходовым колесам. Считал Студент тогда свой «Коммунар» зловредным ленивцем и симулянтом... Не только удивительно, а даже странно, что не вспоминал я ни разу Студента, ведь его история запала мне в душу и стала как своя собственная. Лежали мы с ним койка к койке в одной палате с одинаковыми ранениями. Обо всем переговорили, а про комбайн — бесконечно. Если б вы-

писали меня тогда из госпиталя не на фронт, а в МТС — косил и молотил бы хлеб, как заправский комбайнер, так изучил я устройство и все неполадки, какие могли случиться в «Коммунаре». В том числе и те, которые возникали, как казалось Студенту поначалу, из-за вредности и симуляции машины. Мало того, как только вспомнил, обнаружил, что все время, оказываясь, я подсознательно не упускал из виду изменения, которые происходили в конструкции комбайнов.

Чтобы вся история вышла нагляднее, мне не обойтись никак без технических подробностей. Соединены в «Коммунаре» были косилка, молотилка, две очистки, зернонакопитель, транспортеры, их связывающие, и мотор, приводящий все это в действие. Но для горизонтального перемещения по полю нуждался комбайн в тракторе — тягаче. Не был он самоходным. Называлось это уборочным агрегатом.

Тракторист тащил комбайн вдоль поля и следил, чтобы косилка-хедер захватывала столько колосьев, сколько скомандует ему комбайнер с мостика, чтобы не захлебнулась молотилка. А она у Студента захлебывалась то и дело. Каждый раз приходилось останавливать агрегат.

Тут пора сказать о штурвальном — третьем члене команды.

Можно подумать по названию, что он стоял на мостике у штурвала. Ничего подобного. У штурвала стоял на мостике сам комбайнер, а штурвальный располагался у его ног на ступеньках трапа и дергал за веревку соломокопнителя, чтобы своевременно вывалить на стерню очередную копну соломы.

Штурвальными обычно работали подростки. Теперь, когда комбайны стали самоходными, со всем справляется один человек, который спокойно сидит за рулем исправно работающей машины.

А тогда бегали вокруг капризного горемыки трое.

Первым срывался со ступенек выбрасывать, вырезать, выскребать из барабана намотавшуюся на него массу штурвальный. Тут же подбегает комбайнер — Студент. Немного покрутившись в нетерпении на своем высоком железном сиденье, не выдерживал и тракторист.

Казалось, выход прост — захватывай поменьше колосьев, и пойдет как по маслу. Так нет! Барабан немедленно сигнализировал аварийную недогрузку, взывал как бешеный, грозя разнести машину. Студент с испугу сбрасывал газ, и мотор немедленно глох, барабан напоследок успевал еще намотать на себя ворох массы даже из сокращенной порции. И шло так ежечасно, ежедневно, с самого первого выезда в загон.

А до этого попотел Студент с грохотом и транспортерами.

Та часть молотилки, где солома и полова потрясаются и продуваются на решетках, чтобы не осталось в них зерна, издает очень сильный шум — оттого и название «грохот».

Только у Студента на грохоте получалась чуть ли не артиллерийская канонада. Решета оглушительно ударяли в железный бок молотилки, и там уже выпятился внушительный бугор, как флюс на щеке. Полотняные транспортеры хедера перекашивались и заклинивались в направляющих пазах. И сверх всего, на бесчисленные неполадки еще наслаивалась лирика.

Я все называю: Студент. Была у него и фамилия, в госпитале я, может быть, ее знал или слышал хотя бы раз. Но к нему шло: Студент. И врачи его так называли, и сестры.

Да ведь он на самом деле был студентом — не окончил еще свой сельскохозяйственный институт. И на уборку тогда в первую военную осень послали их как студентов факультета механизации. На этот полевой стан он попал вместе со студенткой из его же группы. Они даже так постарались, чтобы вместе распределили на

усадыбе МТС: туда — трех; туда и туда — по одному; а сюда — двое. Их. Возможно, намечалась любовь.

Только Студент нам в палате ничего не говорил о любви, мы сами догадывались, что намечалась, и кто знает, если б не случилось на стане «умного» комбайна.

Один «Коммунар» был вполне исправен, а другой — этот. Бригадир-механик рассудил: вдруг парню все-таки удастся намолотить сколько-нисколько на инвалиде, а девушку поставил на хорошую машину. Она косит, Студент возится с грохотом. Исхитрился — выгнул шарниры, стихла канонада. Раз десять разобрал-собрал транспортеры на хедере.

Дни идут. Она косит, сыпает зерно на ток. Да еще сочувствует ему, Студенту.

Вот тогда он начал пинать свой комбайн. Пошла между ними вражда. Выехали наконец на делянку. Можно косить, так нет, захлебывается барабан. Чуть поменьше захват, барабан взывает как на холостых оборотах. Студентка же косит уже на дальних делянках, сыпает зерно. Бункер за бункером. Идет ее зерно на оборону.

А когда Студент заставил барабан не захлебываться, пнул молотилку еще раз, влез на мостик, махнул трактористу: двигай, комбайн словно бы передернуло, и он сбросил конец оси мотовила с одного кронштейна, мотовило рухнуло на стерню, с треском ломая лопасть. Получилось — виноват Студент: не проверил крепления.

Даже бригадир словно бы забыл свой давний расчет, поставил в пример девушку, которая косила себе и косила, сыпая зерно в конные бестарки — дощатые кораба на колесах.

И решил бригадир, что, пока закажут в мастерских МТС новую лопасть, изготовят ее и привезут в бригаду, пусть Студент поработает у студентки на ее комбайне... штурвальным. Была, теплилась еще слабая надежда, что

она будет доверять ему иногда штурвал, как более опытному, он все еще искренне продолжал считать себя опытнее ее. Но она-то косила, намолачивала ежедневно центнеры зерна.

Конечно, она не уступила ему штурвал, даже тогда, когда он явно показал свое желание, не уступила и как будто намекнула, что просто не имеет права доверить ему машину.

Студент сидел на ступеньке, дергал за веревку, опорожняя копнитель, и проклинал себя за то, что прикладывал усилия, ловчил, стараясь не расстаться с ней, что согласился доводить сломанный комбайн, проклинал сам комбайн.

Студенту давно уже пересказали, как давали ума этому несчастному «Коммунару»: опрокинули набок сразу же, когда сгрузили на станции с платформы, потом еще два раза по дороге в МТС. За три года пребывания на нем шесть комбайнеров, но ни одного опытного, и никто уж не надеялся, что скосят на нем хоть бы один гектар и намолотят хоть бы один бункер. Студент все же намолотил два бункера, хотя и не скосил полного гектара. Значит, есть у него опыт, а она...

— Эй, штурвальный! — завопила она.

Студент поспешил освободить переполненный копнитель. Больше он с ней не разговаривал с тех пор, она же продолжала его окликать, когда он зазевывался снов. Одно дело — опыт теоретический, другое — практический.

Лопасть привезли на следующий день к обеду, и Студент не стал ждать похлебку, схватил ломоть хлеба с большим огурцом, поволок лопасть к повывавшему горю «умному» комбайну. Теперь Студент уже не злился на него. «Буду лучше брать лаской, чем сидеть у нее на ступеньках и дергать за веревку, — решил он, — докошу хотя бы последнюю деланку».

Бригадир категорически заявил, что, если Студент не

управится сам завтра к обеду, она докосит оставшийся клин в Далеких Кустах, придет сюда, на Ближние, и смахнет его последнюю делянку. Какая уж там намечавшаяся любовь! Студент был готов забыть и то, что учился с ней в одной группе целых три года.

— Сначала поставлю лопасть, а поем потом, как полагаешь, друг? — Студент погладил железный бок «Коммунара».

Комбайн вроде одобрил такой порядок и даже начал содействовать ремонту. Болты точно влезали в гнезда, гайки накручивались как по маслу, ключ не сорвался ни разу.

Перекусить Студент устроился на ступеньках так, чтобы видеть новую лопасть. Хрустел огурцом, откусывал большие шматы серого пшеничного хлеба и подталкивал локтем железную стенку, словно бы приглашая разделить удовольствие от еды и проделанной только что работы. Стенка отвечала теплом, возможно, ее нагрело осеннее солнце. «Не подведешь, друг?» — спросил Студент и снова подтолкнул локтем. Стенка погрузнела. Конечно, скажете, как это, стенка ведь. А Студент встревожился, понял, что жалуется машина. Завел мотор, осторожно включил сцепление. Застучали решета грохота, завертелось мотовило, поползли холщовые транспортеры, застрекотали ножи косилки. Нормально. Прибавил газ. Снял. Порядок! Выключил мотор.

— Не робей, друг. Здоров ты на все сто!

Комбайн не согласился и на этот раз.

Тогда-то Студент не отдал себе в том отчета, что машина жалуется, потом дошел, когда сопоставлял, рассказывая нам, а тогда — уж очень он был рад, что начнет наконец работать, — побежал за трактором. Бригадир-механик не поверил, что комбайн в порядке, и велел проверить при нем. Оба по очереди добавляли, сбрасывали газ, глушили. Ничего. Хотя до Студента по-прежнему доходило тоскливое беспокойство машины.

— Ладно, — сказал бригадир, — сейчас пригоню тебе трактор.

Но как только комбайн двинулся по делянке и на транспортер упали подрезанные колосья, мотор комбайна чихнул и зашипел, окутываясь паром, из корпуса мотора била струя горячей воды. Студент даже не понял сразу отчего.

— Пробило прокладку блока, — определил тракторист. — А их и на складе нет.

«А ведь он предупреждал же меня, — подумал Студент, положил руку на горячий мотор, — нету прокладки, друг. Не докосить нам делянки-то».

Представил Студент, как завтра она смахнет его делянку, лишит последней возможности, а на руке, которая лежала на моторе, вдруг ощутил прокладку, как будто прокладка одной своей дырой, которая огибает цилиндр, висит у него на запястье. Но на запястье у него ничего не висело, хотя чувство, что висит, оставалось еще несколько мгновений.

— Если найду прокладку, поможешь поставить? — крикнул Студент трактористу.

— Давай тащи! — согласился тракторист.

Студент побежал на стан, в вагончике залез под угловые нары, и там, в самом углу, под ворохом концов лежала, как ему и привиделось, новая прокладка. Он надел ее на руку дырой, которая охватывает один из цилиндров, и сдвинул на запястье.

— ...Утром возможен дождь со снегом... — сказал репродуктор, когда Студент выскакивал из вагончика.

Снять головку мотора, выкинуть пробитую прокладку, поставить новую и снова собрать весь блок — работа адская даже для двоих.

То, что тракторист — худой, вконец измученный пятнадцатилетний паренек, — согласился помогать сразу, и то, что они начали перед самым заходом солнца, объ-

яснялось просто: они старались не потерять ни одного зерна, ведь шла первая военная осень, много полей зрелых хлебов осталось за линией фронта. Но они не говорили ни о войне, ни о дожде со снегом, который может погубить десятки центнеров хлеба, оставшегося на корню. Ожесточась, работали молча дотемна.

Потом тракторист развернул трактор, чтобы светить единственной фарой. Только тут, продолжая затягивать бесчисленные гайки, они перебросились несколькими фразами, может быть, бранными: бранили МТС, что до сих пор не приобрела оборудования для ночной косьбы.

Комбайн тоже ожесточился, Студент это знал, чувствовал, и, кроме ожесточения, была в машине решимость, как и у них с трактористом, — довести дело до благополучного завершения, сразу же на рассвете. И снова не до конца понял свой комбайн, хотя все время осуждал себя, что не учел жалобу комбайна на непрочную прокладку, касался его рукой, словно просил прощения, а тот каждый раз приободрял Студента.

Закончили они с трактористом глубокой ночью. Решили, что встанут за час до рассвета и, как только слегка развиднеется, начнут докашивать последнюю деланку.

Уснули сразу, лишь только переступили порог вагончика. Снилось Студенту, что он продолжает обмениваться с комбайном пониманием. Студент не только понимает, что мешает перекошенная рама «Коммунару», но и чувствует, как тот ощущает щекот новой прокладки. Потом они договариваются. Студент, касаясь штурвала, спрашивает: «Скосим последнюю деланку, друг?» И штурвал теплеет. «Сумеем без трактора, а?» И штурвал соглашается. Они движутся без тракториста. Стрекогут ножи хедера. Мотовило подводит к ним колосья, срезанный ворох плывет по транспортеру в молотилку, со свистом проскакивают колосья через барабан, отдавая зерно,

остатки его ссыпаются через решета грохота и по внутренним транспортерам попадают на вторую очистку, а оттуда в бункер. Наконец-то плывет зерно в бункер. Студент счастлив во сне. Только иногда его охватывает сомнение: как же мы косим в темноте, а видим, как же это мы без трактора, а движемся? Но и сомнения сладостны потому, что нет ощущения, какое бывает во сне, бесплодности, бесконечной пустоты действия. Студент чувствует — есть действия, есть польза. Может быть, еще и потому, что до вагончика всю ночь, пока Студент видел сон, с последней делянки доносился из крошечной тьмы стрекот работающего комбайна.

...Вот и полон бункер. Пора подумать, где его разгрузить. Место находится — утоптанная площадка, на которой проходили все томительные наладки и бесконечные ремонты «умного» комбайна. Включается разгрузочный шнек, и на площадке появляется первая куча зерна. Потом она вырастает еще на одну разгрузку, вторую, третью.

Студент чувствует во сне, что машина ликует вместе с ним. Сокращается делянка, вот, окруженная стерней, осталась только узкая полоска нивы — на один захват хедера, на последний проход комбайна. Есть! Комбайн смолачивает и эту полоску, в бункер льется последнее зерно. Последний раз работает разгрузочный шнек. Ого! Какая куча зерна! Мотор комбайна остановился. Студент забеспокоился во сне, встал, растолкал тракториста.

— Пошли, закроем зерно!

Тракторист (Студент так и не узнал, что снилось тому в эту ночь) безропотно идет со Студентом, и они, не проснувшись толком, сгребают, перетаскивают солому и тщательно накрывают ворох зерна, высыпавшийся под разгрузочным шнеком «Коммунара». Потом так же в полусне уходят в вагончик.

На рассвете действительно начинается снегопад, по-

том дождь. Студент с трактористом спят, и бригадир не велит их будить, потому что они выполнили свое. Сам же он отправляется к Дальним Кустам и до вечера помогает там девушке докосить оставшийся клин.

Студента почти в тот же день отозвали в институт, в город, а там он подал заявление райвоенкому. Разбираться в случившемся ему некогда, потом, в боях, — тоже. Только в госпитале разобрался и то говорил, что не сам, а с нашей помощью.

Те фронтовики, которые с первого дня в огне, насмотрелись, навидались, как из простой винтовки оставляли танки, как с отчаяния бросал наш солдат гранату, не успев вставить в нее запал, а она, несмотря на это, укладывала захватчиков, как летчик, покинув самолет, благополучно приземлялся без парашюта, как в наших траншеях была оттепель, а у них, врагов, за триста метров сорокаградусный мороз.

Помогли фронтовики разобраться Студенту, что не только оружие, любая вещь и сама земля наша стоит за народ, их создавший, и народ под такой защитой истребить невозможно никакой злой силе. А его, Студента, «умный» комбайн лишь рядовой случай во всеобщем законе событий.

Помнится, после госпиталя Студента демобилизовали доучиваться, а я догнал свою часть уже за границей, юго-западнее Будапешта. Брал Вену, освобождал Прагу.

Комбайн вспомнил, когда сначала узнал конструкцию, а потом прочел подпись «Коммунар» под фотографией в вашем журнале.

Что, если вы опубликуете мои воспоминания и они попадутся тому бывшему комбайнеру, которого мы звали в госпитале Студентом? Как считаете, ответится он или нет?

Отзовись, комбайнер!

неоконченная повесть о лесных ягодах



Летом темнеет медленно. И луна уж взойдет, а закат все оранжевый. Долго держатся сумерки.

Вот тогда и есть самый клев. А может, только так — поплавок плохо заметен — и кажется. Подсечешь — ничего.

Но Егор натаскал много. Он звал и меня вниз. Да я так устал, что не прельщали и удачи Егора. Я сидел на самом обрыве рядом с избушкой бакенщика и чистил окуней.

Два дня мы ходили с Егором по местам, где удил когда-то Михаил Трубка. Так звали пожилого деревенского бобыля. Он никогда не расставался с трубкой. Бывало, мы, мальчишки, с завистью следили издали, как Михаил Трубка уверенно разматывал и закидывал леску, как подсекал и вытаскивал рыбин. Мы мечтали завести такие же необыкновенные удочки, знать так же реку и налавливать хоть половину того, что налавливал Михаил Трубка. Иногда он позволял кому-нибудь из нас заглянуть в корзину с уловом, и это мы считали честью.

Долго не бывал я в родных местах. И теперь, приехав в отпуск, узнал от Егора, как умер Михаил Трубка. Смерть его была обыкновенная: состарился, по-стариковски хворал и умер.

Егор молодой парень, а мне за тридцать. Но он учился у Михаила Трубки рыбной ловле и поэтому верховодил. Егор решал перейти, переходил и я. Егор закидывал донную — я немедленно делал то же. Егор распорядился, и я беспрекословно чистил на уху окуней.

Уха получилась хорошая. Бакенщик и то хвалил и успокоительно приговаривал:

— Все нахлебаемся.

На белом дощатом столе, потрескивая, горит керосиновая лампа. Над столом к бревенчатой с капельками смолы стене прибита схема реки и правила.

— Два огня у нас, — объясняет бакенщик, — один бакен здесь, другой пониже, у самого шлюза, — и, заметив, что мы с Егором положили ложки, улыбнулся. — Видишь, все нахлебались, и осталось. Вот Михаил Трубка-то, он часто ночевал у меня, любил уху. Не мог ложкой есть — стаканом черпал. Ложкой, говорит, вкуса не чувствуешь...

Бакенщик собрал посуду, смахнул со стола крошки, привернул фитиль, и мы улеглись на полу.

Дверь была приотворена. Вровень с порогом на небе еще краснела полоска, выше густо стояли звезды.

Засыпая, я несколько раз подумал:

«Неужели нельзя, чтобы не умирали люди? Не может быть, чтобы нельзя!»

И опять казалось, что я мальчишка, а не взрослый мужчина в отпуске.

* * *

Где-нибудь, может быть, их называют по-другому. Очень часто у растений, особенно диких, несколько названий. Вот, например, черный паслен — где его зовут просто паслен, где — поздника, а где — и не говоришь, неприлично, потому что растет он в деревнях обычно на задах. С ним, с пасленом, некоторые очень любят пироги, и его даже продают на базарах. А эту ягоду я привык называть, слышал и от других: сорочий глаз. Она лесная, никакая не съедобная, горькая. На макушке травинки как бы звездочка из листьев, а в ней, в центре, голубая до небесности ягода с черной точкой, словно и правда выглядывает из травы птичий глаз.

И еще приведу одно обстоятельство, не менее важное, как получается, чем ягоды, — то, что к тому вре-

мени я уже давно вышел на пенсию. Как давно — не уточню. Для одних давно — год, для других и десять лет — недавно. Жена тоже. Насчет детей: в принципе если были, то были бы взрослые. И внуки.

А по грибы-ягоды я всегда любил и до пенсии. Но тогда по выходным, в большой компании, с ночи в далекие леса. Шумно, колготно. Тут же тихо. Всего лишь пригородная зеленая зона, а ходишь, ходишь — никого. Поднимешь глаза от земли, и вдруг как вынырнул из жужжания, хлопот в прозрачность, покой, и кажется, вот-вот полностью поймешь и жизнь, и природу, и себя. И задерживается в тебе проникновение, и грибы находятся сами собой, знаешь, куда взглянуть, где наклониться, и оказывается — так и есть. Там он стоит, где предчувствовал: белый или красный — подосиновый. А то среди смешанного древостоя — чистый березняк, это и в кино не раз использовали: свет светом погоняет в белизну, в синеву, розовость. И солнце, и шелестят листья. Тогда дышишь, словно сливаешься с воздухом.

В таком проникновенно-воздушном состоянии я и почувствовал, что увижу сейчас ягоды сорочьего глаза, и увижу не равнодушно, а с последствием, с продолжением, что ли, для себя, увижу более заинтересованно, чем любой гриб. Вскоре как по заказу вышел на куртину этих ягод. Бывают иногда такие яблоки прозрачные, сквозь мякоть видны семечки — наливное яблочко из сказки. Здесь оказались наливными ягоды сорочьего глаза, и не скажешь: голубые — прозрачные до того, что светятся изнутри, мерцают, но по-разному; одни будто больше в красное, другие — в желтое. Меня к ним потянуло, выходило по-предчувствованному, и не верилось, что они несъедобные, горькие, наоборот, влекло попробовать и обещало необыкновенную вкусность. Я, еще не веря до конца, взял ягоду в рот. Кто пробовал черный паслен, наверняка помнит его притягатель-

но-отталкивающий вкус. На некоторых людей притягательность паслена почти не действует, и они никогда больше даже не смотрят на него, другие нечувствительны к отталкивающей стороне его вкуса — они-то и любят пироги с пасленом, третьи, как и я, одинаково чувствуют обе стороны вкуса и остаются равнодушными к паслену. Вкус наливных ягод сорочьего глаза с той куртины напоминал притягательный вкус паслена, если ягоды отсвечивали изнутри красным, и отталкивающий, если светились желтизной. Притягательный вкус красных был тоньше и приятнее, чем у паслена, отталкивающий желтых — противнее и резче. И были они по вкусу совершенно разные ягоды — одни притягательные, другие отталкивающие. Я съел все красные ягоды, остались в куртине торчать на стеблях только желтые. Никаких вредных последствий я не ожидал, ничего и не случилось вредного. Но предчувствие, которое началось еще до ягод, заинтересованность усилились, связались с довольным ожиданием еще чего-то, но уже не внешнего, внутреннего. Как будто, когда ел ягоды, я добивался его, знал, что наступит, а теперь отметил про себя с самого краешка: ага! вот и началось, хотя явственно думать что-нибудь похожее я не был в состоянии в тот момент. Сейчас я осознаю все задним умом, как вспоминают потом, когда подломится ножка или стойка: да, да трещало же! Мы слышали, что трещало, оказывается, вон почему! А не подломись, кто бы помнил о треске. Недолго его и выдумать, если уж произошла поломка.

Через день я помолодел, потому и вспомнил, что будто сразу после ягод почувствовал какие-то изменения в себе, навспоминал задним числом столько всего—впору писать научный труд о ходе внезапного омоложения. Мне теперь мнится, как в тот день я необыкновенно долго бродил, не уставая, по лесу, сидел вечером у телевизора, не задремывая, лег без гудения в пятках, встал утром без связанности в пояснице. И пошел, и пошел

наматывать воспоминания на все прошедшие часы до того момента, когда я впервые воочию обнаружил, что происходит или, уж лучше сказать, произошло. Стоял я голый, распаренный перед зеркалом и смотрел на себя. Я не сделаю никакого открытия, если скажу, что мужчины-пенсионеры не часто смотрятся в зеркало, а если и взглядывают туда зачем-нибудь, то избегают общего обзора: каков я? Давно известно каков, и не жди изменений в лучшую сторону, представляешь себя не по зеркалу, по самочувствию и хранишь в памяти совсем другую внешность, чем ту, которую постоянно дорисовывает время.

Но тут мне кричат с полка в парилке: молодой человек! Эй, молодой человек, поддай малость! Конечно, когда сейчас не называют молодым человеком. Однако, даже не глядя, определишь по тону, относится это действительно к молодому или сказано лишь так, для обращения. Хотя у меня и рост небольшой и можно принять за подростка со спины, но никогда еще в этих словах не слышалось той интонации, которая появляется или звучит в отношении действительно молодых. Но тут... Я и поддал, здорово поддал, забрался на полки и сам еле терплю, свирепый получился пар. Кто это, орут, так наподдавал? Да вот этот, показывают, усатый парень, молодой еще, небось холодной водой. Повывращивали, ворчат, бород, усов, а пацаны. Потому-то я и вышел в раздевалку к зеркалу.

Первое, что подумалось, — жена, неужели не заметила жена? Как же она не заметила? И тут же вспомнил, что и сам не знаю, когда видел ее отчетливо, не мельком, что представляю ее по памяти. Да и кто же будет пристально вглядываться в лицо близкого человека, надев очки, чтобы уследить за его старением. Сама природа против, не оттого ли она ослабляет нам зрение заранее, до разрушительных изменений во внешности, шадит наши чувства. Кстати о зрении. Я смотрел на

свое отражение в глубину зеркала без очков, и ничто не туманилось, не расплывалось, передо мной стоял распаренный усатый парень. В молодости я никогда не носил усов, может быть, поэтому я не узнал себя. Хотелось оглянуться, поискать сзади, где же я? Кинулся в парикмахерскую, но и без усов я не стал похожее на того меня, который помнился подробно и никогда не был чужим. Вот так, для начала сам стал себе чужим. А дальше? Видимо, время не только сморщило лицо, но изменило и суть. Морщины убрались, новая суть осталась: вместо рабочего парня отягощенный неповторимой индивидуальностью молодой интеллеktуал из телепередачи.

Вроде бы все разглядел и, оценив, понял, и даже задним умом раскинул, а привычка привычкой — ноги тянут домой почаяевничать после бани. Как будто омоложение где-то там, с тем, другим — из зеркала, а со мной полный порядок, и чай ждет меня дома. Дома...

Ключа не оказалось в кармане. Позвонил и привычно жду, слышу шаги, представляю, как жена сейчас откроет мне, какая она, представляю автоматически те образы, которые внедрили в сознание ослабленное зрение и привычка долгих лет счастливой совместной жизни. Крякнула задвижка, отщелкнулся замок. Гляжу на жену, разеваю рот, смотрю на номер квартиры: номер тот, она не та.

Я смотрел на нее и не находил того, что знал всю жизнь, не мог понять, куда оно девалось, стало незнакомым. Не возраст меня оттолкнул, как он открылся моему помолодевшему зрению, а не з н а к о м о с т ь. Помню, посетил я через тридцать лет после того, как покинул, свою деревню, отчий дом. Скорчилась изба, одряхла, но все-таки угадывались в ней родные приметы, щемяще тоскливо, а знакомо. Тут же самый близкий еще два часа назад человек — и ничего, пусто. Она тоже смотрит недоуменно и видит туманным своим зрением чужого, молодого, безусого...

— Вам кого, — спрашивает, — если, — называет мое имя-отчество, — то он выехал за город на три дня.

И медленно, как будто ждет от меня еще чего-то, закрывает дверь. Вот защелкнулся замок, вот ширкнула задвижка, вот удалились шаги. Я отмечаю, и ничего больше нет в голове, и в ногах окаменение — не двинутся. Вдруг с возмущением подумал: а чай? Как будто у меня из рук вырвали чашку с чаем, а мне кажется — по ошибке, надеюсь, что все сейчас наладится, опять пойдет по-заведенному. Этажом выше хлопнула дверь, я почему-то испугался, кинулся вниз и чуть не бегом выскочил из подъезда, а там со двора на улицу, словно надеялся, что подхватит меня общее ее движение и доставит к месту. Где же теперь мое место? Не оттого ли люди, дошедшие до крайности в домашней сваре, расхлестанные, выскакивают, сами не понимая зачем, на улицу. Выскакивают и, охваченные движущейся, пусть даже равнодушной к ним реальностью, возвращаются в колею, замечают свою расхлестанность, неуместность и отступают со стыдом ли, с просветлением ли. Я же поплыл вместе с улицей, только тогда понял, про какой загород, про какие три дня за городом сказала моя жена. Договорился с соседом по дому помочь ему оборудовать жилье на садовом участке и собирался ехать к нему сразу после бани, не заходя домой. Три дня, три дня, соображал я, три дня, а что дальше. Талдычил: три дня, три дня не хуже, чем Германи в «Пиковой даме» — три карты, и не исключено, что вслух — от ошарашенности. Ноги соображали лучше, чем голова, потому что совершенно не помню, как они привели меня на вокзал и посадили в электричку. И до самого садового участка вели меня не голова с глазами, а ноги с пятками. Соседа своего буду называть не его именем — Петровичем, Ивановичем и по-другому, хоть Морковичем, чтобы не давать ни его, ни своего адреса и еще чтобы передать свое тогдашнее бесшабашное, озорное от моло-

дости настроение. Увидел Петровича на его участке тоже как-то механически и сразу же брякнул.

— Здорово, — говорю, — Иваныч!

Он на меня вылупляется, я, спохватившись, вылупляюсь на него, стоим так, не двигаемся и молчим. Мне уже впору сматываться, как он вдруг светлеет, и по лицу его становится понятным, что он о чем-то догадывается. Я же вылупляюсь еще больше, полностью овладев за эти мгновения пониманием ситуации, никак не могу представить, о чем же здесь возможно догадаться.

— Ага! — говорит Моркович. — Здорово! Ты небось Жора? Тебя, — называет мое имя-отчество, — направил сюда?

Я тоже говорю:

— Ага!

— Сам-то, — снова звучит мое И. О., — когда придет? Или заболел?

Мне это подходит, я киваю и говорю со вздохом:

— Заболел!

Вижу, Помидорыч как попервоначально захмурнел, но тут же, снова мне на удивление, засветился еще одной догадкой. Какой же умный оказался мужик мой сосед! Но на этот раз и я догадался, в чем его догадка. Рябиныч догадался, что Жора напускает на себя малословность и мрачность, оттого и звучит фальшь, которая его настороживала и беспокоила. Теперь же Капустыч успокоился совершенно. С такой чуткостью и наблюдательностью он далеко бы пошел, если б не стремление немедленно разгадать и успокоиться.

В той жизни, за которой для меня защелкнулся замок, ширкнула задвижка и удалились родные шаги (звuki все те же, старые, привычные, а видимость неузнаваема), говорил я Абрикосычу про чудака студента Жору, сына наших знакомых. Вот теперь он и догадывался обо всем наперед и восхищался, что сподобился общаться с закидоном, у которого прямо-таки трагическая

рожа. А какая еще могла быть в тот день у меня рожа, хоть и молодая, что у меня творилось на душе-то?

Салатычу же развлечение, материал для наблюдений и догадок. Ну и дает, парень, лихо. Вот напускает на себя мраку, думал он не без уважения про меня-Жору и в то же время предвкушал, как этот надутый индюк осрамится с наладкой всей его садовой техники да со столярными работами, в которых я подрядился ему помочь, а прислал вместо себя явного неумеху. Теперь уж и я читал все мысли своего соседа в самый момент их зарождения. А в ушах моих продолжали звучать удаляющиеся шаги, уходили они все дальше и дальше. Даже теперь после всего, что произошло со мной, когда за-таюсь, снова слышу, как они уходят.

Три дня на садовом участке давали мне передышку, возможность прикинуть, продумать ближайшие действия, избежать немедленной катастрофы. Как бы я смог объяснить собственное свое исчезновение и то, что на мне были все до единой вещи пропавшего?

— Ты, Жора, — сказал мне вдруг Огородыч, — хороший, видно, жлоб, свои джинсы-пинсы пожалел, а костюмчик, — называет мои И.О., — надел. У тебя брезентовая спецовка, выходит, для театра и танцев, шерстяной костюм наоборот — для грязной работы. Не порви ненароком.

С того у меня и начались раздумья, что будет, если... И выгородилась из всевозможных «если»... стена. Стена с зарешеченным окошком. Не хватало мне на старости лет... тьфу! — по молодости. Береги платье снову, а честь смолоду. А какая уж тут честь, когда сплошь поперла ложь, увертки. Не увернись, и вовсе вываляешься по-уже чем в грязи.

...если Изюмыч вдруг поедет домой, если его жена приедет на участок... если сюда приедет моя жена... Если, если... у Тыквыча тьма родни в городе. А если у него не окажется здесь, на участке, тех денег, на кото-

рые я подрядился, — дружба дружбой, работа работой. Если скажет: посчитаемся дома, Жора. Если потащит за собой. Если... И сверх всего главный вопрос: что же дальше-то?

Смутно забрезжил достойный как будто поступок, который я наметил на первую очередь. Но прежде чем его осуществлять, пришлось обезопасить себя хоть от одного «если», создать у Сливыча мнение, что за Жорой нужен глаз да глаз, что с Жоры не слазь. Чтобы не поехал домой ни в коем случае, чтобы не решился оставить на Жору участок. И я с первых же шагов начал планомерно изматывать бедного соседа. То проявлю вроде трусливую неуверенность, то бесшабашную самонадеянность. Вот уж он в ужасе, что сейчас я неминуемо сломаю хрупкую деталь, как она неожиданно встанет на место, словно ее подпихнул испуг владельца сада-огорода. С одним ленточным подъемником загонял я его до пота. Молчком скребу в затылке, шмыгаю носом, присаживаюсь на корточки, бросаю инструменты, будто ничего не понимаю, а ведь только что мотор подъемника фыркал как надо, по желобу катилась вода, и Малиныч, облегченно вздохнув, шел плотничать. А то придумал совершенно по-мальчишески — плевать на кожух мотора. Три плевка в минуту — считаю про себя до двадцати и тыфу! И еще считаю, Лавровыч же, как загнипнотизированный, мечется между досками и колодцем. Кряхтит, и чешется у него язык, но боится подать голос, потому что тогда и я поплевывать перестаяю, и глаза закрываю, вроде до того сбит с толку его словами, что окаменел насовсем. Вошел в роль Жоры — загадочного акселерата — даже с вдохновением: такие штуки я выкидывал в этом образе, когда налаживал опрыскиватель, что и вспомнить неловко. Зато к вечеру и вся его техника была в исправности, и сам Укропыч не только куда-нибудь ехать, до топчана-то во времянке доковылял еле-еле и как пал на него, так и уснул мертвецки.

Я же вызвался спать на воздухе, еще днем пристроил раскладушку под яблоней. Теперь, как только сосед заснул, напихал под одеяло стружек со щепками, придал им соответствующую форму, на случай, если он все-таки проснется до моего возвращения, и побежал на станцию.

С электрички на автобус, с автобуса на последнюю электричку на другой линии, а там пешком — летом ночи короткие. С рассветом разыскал я ту куртину сорочьих ягод. Допускаю: кто-нибудь другой на моем месте, возможно, придумал и получше, или, располагай я временем, придумал бы и сам. Но тогда мне ничего не подворачивалось более достойного, более честного, чем побыстрее набрать сорочьих глаз с притягательным вкусом и принести жене, чтобы и она стала молодой, как я. Не давали мне покоя удаляющиеся шаги, зловещие звуки.

Только ничего не вышло с самого начала. Не нашел я ни единой притягательной ягоды ни в куртине, ни кругом, как ни прочесывал лес. Желтых ягод тоже осталось мало. Я уж под кустами шарил, хоть бы падалища нашлась. Нет. Небо начало зеленеть, что, если Корнеплодыч рано встает, по-дачному? Дернулся я к железной дороге, но ушел недалеко — вернулся, не понимая зачем, а вернулся. Еще раз обыскал куртину, напоследок же, также не зная зачем, торопясь, собрал в спичечную коробку желтые ягоды, которые с отталкивающим вкусом, и с облегчением — вон, оказывается, зачем возвращался! — чуть не бегом, прыгая через канавы, кусты, спотыкаясь о корни и кочки, поспел к первой электричке. Потом автобус, еще электричка. А сам ломаю голову, зачем же мне потребовались отталкивающие ягоды? Сокрушительная неудача, невозможность одарить жену молодостью и непонятное, смутное предчувствие другого пути, связанного с желтыми ягодами. Не настолько уж я недогадлив, чтобы не заподозрить у ягод с противопо-

ложным вкусом и противоположных свойств. Но зачем они мне с их противоположными свойствами? Возвращаться в пенсионный возраст? Ну уж нет, нет. Нет!

Весь день, когда я изводил соседа, ломал голову над своим положением, прислушиваясь к удаляющимся шагам, каждое мгновение ощущал, кроме того, перекрывающее все заботы ликование тела, ток крови и, как отчетливо доносящийся грохот водопадов, предвкушение жизни. Воздух с каждым вздохом так просто и сладко входил в легкие и покидал их, что впору было, ничего не делая, лишь любоваться своим дыханием. А шаги? Да, я сознавал, говорил себе, что похож на предателя. Ушел, а она осталась. Но вернуться? Нет! Я найду ягоды, и мы снова будем вместе. Не нашел здесь, найду в другом лесу, обыщу все леса. Вот это мне и нужно делать — искать сорочий глаз во всех лесах. Желтые ягоды выбросить. Но я их не выбросил, чтобы узнать наверняка, есть ли в них противоположные свойства. Или меня удержало то туманное предчувствие иного выхода. Но не возвращения же?

Непонятно все-таки, что я не увидел ничего знакомого, близкого, ни крошки для глаз, и совершенно все по-старому для ушей. Родной звук шагов. Можно ли променять молодость на звук?

Лопатыч еще не поднимался, на всем садовом кооперативе стояла тишина, которая только и ждет, чтобы кто-нибудь пошевелился, скрипнул или стукнул, а уж там пойдет, закипит жизнь. На крыше соседского сарайчика спал, прикрыв мордочку полосатым хвостом, котенок. Я разглядывал, проникался состоянием покоя, но не чувствовал усталости, наоборот, прилив сил — и потому, что наметил план действий, и потому, что был неуютим от молодости.

Вернуться? Ну нет, никогда! Да какое же это предательство, когда я совершаю открытие, полезное для всего человечества, ставлю на себе такой опыт. Найду

ягоды и омоложу все человечество. Хоть мне самому показалось это не очень убедительным, я успокоил себя, что у молодых всегда большие слова получаются неубедительно. Я ведь знал еще и по-пензионерски, что добьюсь, не в нынешнем году, так в будущем уж обязательно. Вырастут же на том же месте, на тех же кустах те же самые ягоды.

Теперь в первую очередь буду закруглять с Иваечем-Петеичем, уж без художественной части постараюсь закончить плотничью работу до обеда. А во вторую очередь проведу одновременно эксперимент по биологии. Я отломил кусочек от вчерашней котлеты, вмял в него ягоду из спичечной коробки и дал котенку, который уже соскочил с крыши и бодал, мурлыкая, мои ноги. Мы не в пустыне, подумал я совсем не свои слова, совсем не на свой лад, а по-студенчески. Видно, омоложение пробралось уже и в мозг. Котенок проглотил кусочек. Я отломил еще, вмял в него три ягоды и, скармливая котенку, опять подумал в этом, новом для меня, невозмутимом стиле: и хорошо, что мы не в пустыне. Всего котенок принял семь ягод, я решил, что для его размеров достаточно, отдал ему остатки котлеты и взялся за топор. Котенок покрутился около меня еще немного, но, сообразив, что с угощением покончено, вспрыгнул досыпать на крышу, на солнышко.

Когда заспанный Турнепсыч вылез из домика, у меня уже были подготовлены стропила, осталось поднять их наверх, поставить, сколотить обрешетку и покрыть шифером. Домик чуть больше крольчатника, в приложении к нему такие слова, как стропила, обрешетка, все равно что про банную мочалку сказать ковер, — жердочки. Но все-таки я утомил и загонял Бананыча взятым темпом. Он потел и пыхтел, а радовался, что завершается строительство.

Про котенка я вспомнил, лишь приколовив последний лист шифера, когда Редисыч занялся обедом. Котенок

продолжал спать на солнечной крыше — как свернулся в клубок, так и не менял положения. Я пощекотал его хворостинкой, он пошевелился. Пощекотал еще, котенок начал распрямляться, тянуться, выбросил вперед пятки-подушечки с растопыренными когтями и стал доставать от одного края крыши до другого. Рысь, а не котенок. Я для того и кормил его ягодами, чтобы подкрепить свою догадку экспериментом, выяснить биологическое действие желтых ягод на молодой организм. Но я никак не ждал такого быстрого и заметного действия. Он меня даже испугал. На какое-то мгновение мне показалось, что все это несуразный сон и, возможно, я проснусь. Я ушипнул себя в тыльную сторону кисти, с вывертом — получился немедленно синяк. Кот тем временем приоткрыл глаза, вытянулся, будто специально для наглядности, еще больше и зевнул во всю розовую пасть. В месте щипка бился пульс, кисть горела. Воровато оглянувшись — не видит ли кто, я стегнул кота хворостинкой тот не столько от боли, сколько от неожиданности, прыснул с крыши и помчался, прыгая через участки, словно тигр — в один мах, а напоследок перелетел так же легко через главный высоченный забор садового кооператива.

Кто знает, что было бы, разгляди этого вундеркотенка мой догадливый Сельдереич. (Даже в пустыне у меня не нашлось бы другого выхода, как только вытянуть котягу хворостинкой.) Вон ведь как меня заносит озорничать словами. Я и воспользовался этим своим настроением. Чтобы поскорее выбраться из сада-огорода, способ придумал тоже юмористический, исходя из сложившихся обстоятельств. А обстоятельства сложились так, что никакого убедительного повода для моего отъезда, слов, которые можно выговорить и не покраснеть, не насторожить, не выдать себя, не было решительно. Накануне Рассадыч своими догадками заставил меня согласиться, что И.О. — это я в своем про-

шлом виде, как только почувствует облегчение, так и прикатит в наш сад-огород-ягодник или, даже еще более возможно, что И.О. — опять прежний я, вовсе и не заболел, но по своему обыкновению соблазнился грибной погодой и бродит по лесам, следовательно, жди его вот-вот. И мне — на этот раз мне, Жоре, — приходилось бурчать или кивать, подтверждая его догадки. Кабы знать, что сам выстраиваю для себя западню.

— Наденет, Жора, твои джинсы-пинсы и прикатит вместе с моей Иркой на шестнадцатичасовой электричке.

Шестнадцатичасовая электричка с Иркой. Значит, я должен смыться раньше. В крайнем случае, на этой же шестнадцатичасовой электричке, с которой прибудет Ирка, уеду до Конечной станции подальше от Города. А выберусь я только в том случае, если сосед догадается, почему мне позарез, и само собой естественно, что позарез, нужно уехать — вот какой я придумал юмористический способ, воспользовавшись своим озорным настроением. Догадался же он, что я Жора, так пусть догадается, почему этому порожденному его догадливостью Жоре позарез необходимо покинуть ягодник. Сначала мне показалось, что есть опасность — вдруг Гексахлоранович догадается, что для пользы Жоры должен он Жору не отпускать до приезда своей лупоглазой Ирки. Но я тут же такую возможность отбросил, как не подходящую к характеру моего соседа. Он может догадаться только так, чтобы и дальше по течению, он не будет догадываться против течения.

— Жора, садись обедать, — Мудреич поставил на козлоногий стол из горбылей чугунную сковороду яичницы с колбасой и салом.

Тянуть нечего, пора начинать давить на его природные способности.

— Я не буду! — пробурчал я невнятно, во вчерашнем стиле и как можно отчетливее и подчеркнутее

брякнул: — Мне уезжать нужно! — подсел к сковороде, приналег и вскоре прикончил свою половину. Раз ты такой Мудрец, то и догадывайся без меня.

Догадыч не отставал, хотя любил есть с расстановкой. Значит, плывет вслед за Жорой. А Жора — я наблюдал за ними, как сторонний третий, — Жора проглотил залпом кружку кофе из сгущенки, набычился на пустую сковороду и прямо-таки взвыл с тоской в голосе: «Надо!»

И ведь можно затосковать на самом деле — без чего-то три, пятнадцать часов, значит, а в шестнадцать — Ирка. Потому и неподдельно прозвучала у Жоры тоска. В глубине души я был уверен, что ход выбран правильно и Жора одолеет Рассудыча. Вырвемся мы из сада. Но вот догадается ли сосед отдать деньги. Ведь среди тех, кто всегда по течению, очень много таких, которые, как только зайдет о деньгах, на водопад выплывут против течения...

Ну а пока надувай, Жора, губы, набычивайся. Вижу, мой Виноградыч мучается, снует глазами, снует, но никак не может понять, еще чуть-чуть, и откажется, начнет у нас требовать объяснения. А у нас ни единой подсказки за душой. Время, время! Жора вспотел даже от набычивания, между лопаток потекла, щекоча, струйка. Неужто не выйдет? Сидим друг против друга молчком.

— Брысь ты, проклятый, кто только откормил такого тигра! — кричали на дальнем участке.

«Не хватало еще этого пустынного котика!» — подумали мы с Жорой, и Жора вдруг, как я его ни удерживал, ухмыльнулся самым благодушным образом.

Тут-то Телепатыч совершенно обо всем догадался (это, конечно, так он решил для себя, что совершенно обо всем). Сначала его глаза застыли на месте, открываясь все шире, радостно поднялись брови, потом он вскочил, хлопнул меня по плечу, меня, потому что я

почувствовал шлепок и кончилось раздвоение, исчез сторонний зритель, остались только действующие лица.

— Так бы сразу и говорил! — Ясновидыч назидательно и заговорщицки задрал голову и скрылся в своем пряничном домике под новой крышей и вернулся с деньгами.

— Дуй, И.О. (бывшему мне, значит) я все объясню, как придет. Костюм его побереги. — Тут он опять стал ко мне приглядываться, снова у него глаза пошли ерзать.

О, черт, еще догадывается. О чем же? Но Георгиныч сразу же и посветлел.

— Слышь, Жора, а ведь видно, что костюмчик на тебе чужой. Вчера мне показалось удивительно — сидит как влитой. — Глаза у него еще разок ерзнули, да, видно, течение тянуло мощное, смыло какую-то догадку в зародыше, и он заключил так: — Это костюм вчера по тебе еще не обвиселся. Зато сегодня в глаза бросается, что с чужого плеча. Дуй! А то опоздаешь. Сумку с инструментом не возьмешь? И правильно, И. О. возьмет, когда придет. — Резнул Поленыч напоследок мне слух моим именем-отчеством, и я понесся к станции как ветер. Хотел было, завернув за угол, сбавить скорость, плестись в развалочку, наслаждаясь передышкой. Да не тут-то было, начала действовать психика человека скрывающегося, уходящего от преследования. Почему бы, думаю, не сделать вид, что спешу на электричку, которая идет в Город, — мало ли народу смотрит с садово-ягодно-морковных участков на прохожих. За городом у людей, не успеют пожить там день-другой, образуется первейшая деревенская привычка — развлекаться, наблюдая дорогу: кто, куда, от кого, с кем и, главное, не заключена ли в прохожих хотя бы отдаленная угроза морковному или банановому урожаю. Обязательно найдется и такой наблюдатель, который засечет меня и запомнит, что такого-то да, торо-

пился на городскую электричку такого и такого-то вида молодой человек. Черт его знает, никуда это не денешь — не во сне, а наяву молодой! Не по трамвайно-магазинной вежливости — по самоощущению. Бегу не задыхаясь, в пятках словно крылышки, как у греческого бога. Но я не даю себе и моральной передышки, некогда любоваться, нельзя терять бдительность. Нужно решать криминальную задачу: как уйти от преследования, как не наследить.

Прежде всего кинутся ловить, искать, задерживать Жору в моем костюме или скажем, как они скажут, такого-то и такого-то вида молодого человека, в таком-то костюме явно с чужого плеча. И, конечно, хотя и не сначала, а по ходу будут искать мое тело, тело пенсионера ФИО. Но эти поиски мне не помешают, пусть ищут мое тело хоть всей командой, я займусь исключительно Жорой — самим собой в моем теперешнем сложном положении. В Город на электричке, к которой тороплюсь, я не поеду, но, наверное, надо сделать вил, что уеду, и взять билет в Город. А поеду в другую сторону, до Конечной. Но тогда придется взять билет и до Конечной. Нельзя в моем положении ездить без билета. На таких пустяках и ловят преступников. Батюшки, я преступник! Конечно, можно бы тут наужахаться всласть, но у меня не было времени, так просто мелькнуло на бегу. Преступник не преступник, а Жора под подозрением, несправедливым подозрением, и надо его до лучших времен увезти отсюда и спасти от погони.

Касса-то на станции одна, как же я буду брать одновременно билеты в оба конца: в Город и до Конечной? Сразу же и наслежу. Подходить два раза? Кассирша-то одна. Сделать вид, что в Город, а билет наоборот? Но как сделать вид для кассирши? Для нее куда взял билет, туда и еду. Вот уж и платформа, и касса, и электричка выкатывается из-за поворота, и кассирша

смотрит из окошка, и дежурная по станции в красной фуражке улыбается — дескать, в самый раз к поезду. Общественное давление — никуда не денешься, как под гипнозом делаю то, что от меня ожидают: полтинник на блюдечко в кассу — один в Город! Вот и сделал вид. Дальше еще лучше: сел в вагон, двери задвинулись, электричка тронулась — повезли загипнотизированного Жору в Город навстречу его коварной судьбе.

Не тут-то было, я вовремя встрепенулся и переиграл и гипноз и судьбу — вышел из вагона на следующей остановке, прошел кустами до конца платформы, пересек линию и в кассе на противоположной платформе взял билет до Конечной. Теперь оставалось лишь несколько минут до шестнадцатичасовой электрички с лупоглазой Ирккой. Я не остался торчать на платформе, нырнул снова в кусты. Уж на этот раз мы не наследили с Жорой. А теперь в кустах пора было мне с ним расставаться, как я к нему ни привык, как ни вжился в его образ. Хватит. Жора исчез навсегда, я остался наедине с самим собой, молодым и непривычным. В новом теле — старый дух. Только бы знать, сколько у меня в запасе доаврального времени: сегодня объявят тревогу или завтра. У меня уже тогда возникло впечатление, что в моей грудной клетке, где-то около сердца, пустились часы. Идут они пока равнодушно, еле слышно: так-так, тик-тик, но и с угрозой.

К Иванычу-Догадычу-Ирисычу все ездили в четвертом вагоне, который останавливался как раз у сходов с платформы, там же начиналась и тропинка к садовым участкам. Не обнаружу Ирку в четвертом вагоне, пройду в хвостовой, и наверняка она окажется где-нибудь там, или я увижу ее на тропинке, когда буду уезжать в хвостовом вагоне. Но никаких сложных розысков не потребовалось — Ирка была там, где и надлежало ей быть, в четвертом вагоне. Сидела на третьей скамейке

от дверей, лупила глазищи в окно, а над головой у нее висела знакомая дырчатая сумка со знакомым термосом. Наша семейная сумка, с нашим семейным термосом и газетными свертками — передача для меня.

Значит, передышки не будет, значит, с первых же дочкиных слов Жасминыча хватит догадка, и он начнет действовать. Как? Телефона на участке нет, машины, мотоцикла — тоже. Теперь вычислим затраты времени противной стороны: Ирке пешком до участка — двадцать минут, на разговор с прояснением, осенением и догадыванием — три, на спешные сборы с переобуванием — семь и с поспехом до платформы — еще пятнадцать. И сразу же может начаться аврал. Сорок пять минут до тревоги. Сорок пять минут на заматывание следов.

Сорок пять минут. Из них — семнадцать на электричке до Конечной. Раньше слезать — слишком большой риск — никакого транспорта, а пешком скоро не скроешься. Остается двадцать восемь минут. Часы около сердца заработали, как по наковальне: гук-гук, бах-бах! Двадцать восемь минут, чтобы, во-первых, сменить одежду, во-вторых... И неизвестно, что во-вторых. Конечно, бежать, скрываться, чтобы они не нашли меня ни за что! Видал, уже Они с большой буквы. Я же Дичь, Они охотники. Мое дело — бежать, хорониться, их — распутывать следы и за шкуру: стой! Что там у них сейчас делается, что будет делаться дальше, я узнаю, если попадусь, а нет, так ничего и никогда — отрезана прошлая жизнь. Попал я в переделку. Ну а, допустим, не бегать, пойти и начистоту, как есть. Где доказательства? Кто поверит, неделю назад я сам бы не поверил хоть кому. Я же сейчас всем никто. Где тот мудрец-долготерпец, чтобы вникать всерьез?

Нету у меня другого выхода, как бежать по воровскому способу. Ничего для меня нет противней, как делать что-либо не по-настоящему, а шалая-валяя, на

соплях. Если взялся, сделаю со знаком качества. Взялся бежать, скрываться, так чтобы убежать и скрыться. А вот, когда найду ягоды, тогда любого заставлю допереть до истины.

Конечная. Еще двадцать восемь минут. Гук-гук! Спокойно. По-профессиональному все делается спокойно. Выхожу со всеми, не выделяясь. Та электричка, на которой я вроде бы уехал в Город, прибудет через тридцать четыре минуты. Вернее всего, меня будут встречать там, но и здесь спокойно нужно принимать меры. Иду со всеми. Идем мимо промтоварной палатки Конечного торго, около которой выстроилась очередь. Давали свитера: один из них покачивался на плечиках, прицепленных к козырьку палатки, и от него даже падали блики — оранжевые и малиновые, такие яркие были краски узоров, может быть, те самые краски, которыми разрисовывают дорожные знаки, и они вспыхивают в темноте от света фар. К очереди сворачивали и некоторые сошедшие со мной с электрички. Что, если я отоварюсь незаметно, мимоходом. На себя — свитер, пиджак — в сторону, кепку я уже давно сунул в карман. Очередь на четверть часа, а у меня в запасе еще двадцать шесть минут. Бах-бах! А вдруг? Спокойно, спокойно, что: вдруг? Я уже нацелился на хвост очереди — полную женщину в голубой кофточке, как сам же себе и ответил. Спокойно и рассудительно: вдруг Патиссоныч вышел Ирку встречать. Тогда, может быть, давно уж начался аврал, и ту городскую электричку, на которой я вроде уехал, прочесывают или прочесали, и распространяют тревогу дальше. Взглянул я на дорожку, когда Ирка вышла из вагона? Нет, не взглянул. Прокол? Явный прокол! Ох, черт, и трудная же работа у преступников. Как ни погляди, вредное производство!

Теперь прикинем это вдруг спокойно и по логике. Я продолжал идти за большинством бывших пассажиров. Допустим: время ноль, пуск. Начинают меня

искать в городской электричке, одновременно или, в лучшем случае, немного погодя сообщат сюда, на Конечную. Здесь же где меня искать? А вон, в очереди за дорожно-знаковыми свитерами. Допустим — успел, переделся, тогда в чем меня искать? В этом же светящемся свитере. Таких костюмов-то, как на мне, зелененько-голубовато-сереньких чуть не на каждом третьем. Дорожный же знак редкость, его видно издали. Вывод самый спокойный, логичный: наддать ходу! Тут как раз вышли все вместе на шоссе, а там кричат из «рафика»:

— Кому на Заполье?

— Мне! — и влезаю в машину.

— Ну все, что ли? Поехали!

И поехали взаправду. Гук-гук, бам-бам! Спокойно. Проверим еще. Если Тминыч встретил Ирку, если сразу трехнулся, если допустили его к линейному телефону, тогда, конечно, ноль — пуск! А если не встретил, не трехнулся, не допустили, тогда есть еще льготное время — девятнадцать минут. На Конечной я, похоже, не наследил: в очередь не вставал, последнего не спрашивал, а что направился было к палатке, они не заметили, увлеченные соблюдением очереди. Любой знает, когда стоишь в такой вот промтоварной очереди, ничегошеньки кругом не видишь, даже в дождь очередь не так промокает, как сторонний прохожий, а меньше. Нет для стоящих в очереди внешней среды, не воспринимают они ее, и она, похоже, отвечает тем же. Нет, не наследил я на Конечной.

«Рафик» тем временем свернул на бетонку. Кто-то собирал деньги, кто-то, расплачиваясь, попросил, чтобы остановили у поворота, впереди меня сказали: и у фермы. Есть, выходит, варианты. Все платили мелочью, я молча протянул рубль, мне — сдачу. Ударил ветром встречный автобус, рейсовый, с номером и кондуктором. Тоже вариант. И самый подходящий — как кто будет

выходить поблизости от автобусной остановки, слезу и я, дождусь автобуса, и жарь... Но тут «рафик», не снижая скорости, соскочил с бетонки на грунтовую дорогу. Я даже рот открыл от неожиданности и рванулся, словно хотел выскочить в окно. На меня смотрели все, кто был в «рафике», с понимающим, сочувствующим выражением. Неужели попался? Гук-бам! Спокойно. Профессиональная работа требует спокойствия и трезвости. Но шофер «рафика» тоже разглядывал меня через свое зеркальце с какой-то затаенностью.

— Ну, остановить, что ли? — спросил он у меня с двусмысленной ухмылкой.

Я опять дернулся к окну и только уж потом к дверце, еле пробормотав:

— Ага, мне по бетонке.

Все, кто был в «рафике», удовлетворенно захохотали. Шофер затормозил и, когда я открывал дверцу, сказал:

— Во, всегда так — прозевывают свой поворот — что старый, что малый.

Хохот возобновился, я прыгнул на землю, ничего не соображая, в панике готовый кинуться бежать, а шофер еще добавил специально для меня:

— Смотри, парень, не соглашайся, если твою деревню опять начнут переименовывать. Нас позови!

Он захлопнул дверцу, рванул с места так, что пассажиры запрокинулись на сиденьях, но, возможно, они запрокинулись от смеха, а не от инерции.

Как попал я в немыслимое положение, так оно и продолжает становиться все немыслимее и немыслимее. Словно муха на липкой бумаге. Только присела, глядь, на лапке что-то лишнее, она ее об хоботок — и на хоботке неловко, другой лапкой — тут и задние что-то, задние об крылышки, а не обчищаются, улететь бы чуть пораньше, жужжи не жужжи — гибель. Но я жужжать не стану, не такой я человек. «Рафик»

скрылся за бугром. Я оглядываюсь, чтобы не прозевать, когда появятся они. Доконали меня хохотом. Втянул голову в плечи, покошусь через правое плечо, покошусь через левое, а их нет. Поплелся на бетонку: решили небось встретить меня на бетонке, ждет меня там засада. Иду навстречу судьбе, деваться больше некуда.

На бетонке было даже пустыней, чем обычно бывает на бетонках, — просто тишина, только дятел стучал на засохшей, облупленной осине. Впереди, как если б «рафик» не свернул на грунт, пестрела шашечками коробка автобусной остановки. Там тоже пусто, тихо. Под раскоряченной железной буквой А по торцу крыши было написано теми же разными красками, что и шашечки: дер. Зеваки. Где-то близко деревня, вон где — за полосой берез поле, на том краю ветлы и коньки крыш. Выходит, это и есть деревня, которая называется Зеваки. Зеваки так Зеваки, мало ли... Во мне ничего даже не шелохнулось, хотя я и не нашел еще объяснения ни смеху, ни затаенному ожиданию; как мне показалось, они были заранее уверены, что повеселятся на мой счет. Со страху-то, что значит потерять профессиональное спокойствие, думал — предупреждены, ждут, как это будет выглядеть: задержание, — оказалось же совсем другое, а я не знаю, что другое, опять прокол. Не знаю, и на какой оказался бетонке. Направление-то ясно — удаляться от Конечной. Но куда я приеду? На побитом камнями и исцарапанном расписании можно было разобрать, что машины ходят через двадцать — двадцать пять минут, но без направления. Надо же — ни разу не забирался сюда за грибами — леса подходящие, вон дубняк, а там — ельник. Мне дело надо решать, а я грибы!

А решать приходится снова с риском обратить на себя внимание. Прочту на трафарете, когда подойдет автобус, хорошо бы на лобовом трафарете — всегда

заметно, если разглядываешь боковой. Вернее всего, маршрут начинается от Конечной, тогда не придется ничего спрашивать, оставлять следы в памяти пассажиров.

Как бы не так! Они — сколько их там ни сидело, человек, может быть, шестнадцать пассажиров, — стали разглядывать меня и тоже с загадочным ожиданием, когда автобус еще только приближался к остановке. Гук-гук! Что же это такое, не дают устояться спокойствию! «Химзавод — Птицефабрика» — лобовой трафарет, боковой: «Птицефабрика — Конечная — Химзавод». Что делать? Я неловко или совсем неуклюже, от того что на меня все смотрели, вскарабкался по ступенькам, протянул кондукторше заготовленный рубль и деловито буркнул: до конца. Но и это не прошло. Пассажиры окаменели, кондукторша же, наоборот, оживилась, она подняла мой рубль, чтобы не только пассажирам, но и шоферу было видно, хоть шофер и без этого смотрел на меня. Я хоть понимал, что другое, не задержание, испугался до холодного пота и оцепенения.

— А до какого именно конца, молодой человек? — спросила кондукторша, и все либо закивали, либо изобразили, что они тоже больше всего хотят знать, до какого именно конца я собираюсь ехать.

— До того, — продолжал я настаивать, мотнув головой по ходу автобуса, но не удержался, спросил: — А куда вы едете?

Тут случился точно такой же хохот, как в «рафике». Автобус не трогался, потому что шофер закатывался со всеми.

— А мы едем до Птицефабрики, молодой человек, — сказала кондукторша на передышке.

Она держала мой рубль почему-то за уголок, двумя пальцами, как мокрый.

— Вот и мне до Птицефабрики, — сказал я послушно.

На этот раз стало тихо так, что я услышал, как воздух завихривается в их легкие, а кондукторша сообщила в этот момент свистящей тишины:

— До Птицефабрики — в обратную сторону. Такой, — она успела поколебаться, подбирая слово, а воздух все еще входил в них, — такой юный, а уже зевака! — Она разжала пальцы и капнула рублем мне в руку.

Меня вышибло из автобуса, словно взрывной волной, и они тут же умчались, как будто задержись автобус еще хоть крошку, и лопнет их веселье, а так растянут его до самого Химзавода, и даже там расставаться им будет жалко. Зато и я догадался, что к чему и как пришпилено, не хуже моего морковного Петейча, стоял, задрав голову, читал на ребре крыши — дер. Зеваки — и не торопясь реконструировал свое участие в местном аттракционе. Воображал себя злодеем, а выступал в роли клоуна — зеваки! Вот так давным-давно, когда я был, возможно, лишь немного старше, чем сейчас, под Астраханью случались похожие спектакли. Только тогда-то я участвовал зрителем, а не рыжим. Уроженцев Хараболей, не то Сероглазки, но, может быть, и другого какого-нибудь села астраханцы считали неисправимыми путаниками: пошлешь за картузом — жди с арбузом, и, конечно, старались, как только могли, эту славу приумножить. Пользовались нечистыми уловками, чтобы подстроить, а потом так же, как сейчас эти в автобусе, ликовали, захлебываясь хохотом. У нас в изыскательской партии работали два таких парня — из знаменитого села. Парни осторожные, а все равно их вкручивали в путаницу. Поменяют специально ночью местами ящики с инструментами, а утром уже с поля посылают одного из них, чтоб немедленно, чтоб скорей, и начинается потеха, когда парень, схватив на привычном месте, приносит совсем не тот ящик. Все смеялись, и я смеялся, хотя все знали и я знал, что подстроено, и еще как смеялись! Насколько

же больше было веселье пассажиров и «рафика», и рейсового автобуса, когда встретились с неподдельным зевакой! И насколько же возросла сомнительная слава злополучной деревеньки!

Хорошо, что я определился и выскочил из этой карусели на твердую почву. Сяду на следующий автобус, возьму билет до Химзавода, и можно будет вздохнуть, переключиться на обдумывание дальнейшей своей судьбы. Отпихиваешь, откладываешь первостепенное, неоправимое, нарочно притворяешься сам перед собой, что забыл, тут же с этой суматохой, глупыми недоразумениями забыл на какие-то минуты по-настоящему. Зато теперь обдало холодом.

И вдруг, как в липком кошмаре, наступала опять клоунада: следующий автобус оказался красным — с красным номером, и на красном трафарете одно знакомое название — Конечная, посередине... А в автобусе точно такие же пассажиры, точно так же смотрят, разглядывают меня с загаенным ожиданием. Почти прожигали меня этим нарастающим ожиданием, а я невольно сжимался, втягивал голову в плечи, пока автобус, поиграв подфарником, свернул к остановке и, остановившись, призывно распахнул заднюю дверцу. Я помахал шоферу: мол, без меня. Все пассажиры немедленно просияли, ослабившись, а кондукторша, похоже, сестра той, с предыдущего автобуса, или даже двойняшка, так же вкрадчиво спросила, высовываясь из своего окна:

— Отчего же это вы, молодой человек, не желаете ехать с нами.

— Мне на черный! — сказал я затравленно.

На красном автобусе и смеялись красно, куда там тем с черного, те больше запрокидывались и взвизгивали, эти же реготали, будто табун на скаку, и срывались с места красно, не успел моргнуть — не стало их, только регот слышался, как от умчавшейся грозы.

Не могу сказать, не помню, что я тогда — разрыдался, или взвыл, или сдержался. Потому что навалились на меня тоска и беспамятство. Собирается же в последовательность с того момента, когда я уже сидел в следующем автобусе и допрашивал себя: почему же ты ее не узнал, она могла не узнать и должна была не узнать, а ты почему? Повернуться и уйти навсегда, разве это не подлость? Не узнал, предатель! А теперь назад поздно, другая запущена судьба. В то же время и тоска и раскаяние лишь ненадолго оттеснили ощущение нахального, на все взирающего с ухмылкой, молодого непечатого здоровья. Опасение, ожидание погони тоже виделось через эту же ухмылку: и страшно, и озорно, словно играю с кем в разведчики. Что лучше? Сначала проникнуть в Город кружным путем, а потом сменить одежду или сначала сменить, потом в Город? По озорной же линии припоминаю, что в электричке, высматривая плодово-ягодную Ирку, гадал: будет с ней или нет И.О., то есть я неомоложенный, в Жорином джинсопинсовом костюме, и когда И.О. не оказалось, я принял это как просвет везения, что не так все сложно, как могло бы закрутиться при неблагоприятном стечении обстоятельств. Непринужденно, как будто только так всегда и бывает, передо мной и во мне двоилась действительность: я — не я, прятаться — не прятаться, мой костюм, а на мне он как с чужого плеча.

Химзавод. Сбылись мои предчувствия: с автобусной остановки виднелась железнодорожная станция, значит, я отсюда смогу вернуться в Город через Другой вокзал. Красный автобус, на котором я так гордо отказался ехать, довозил пассажиров до самой станции. Его маршрут был укорочен с противоположного конца, здесь же, наоборот, продлен от Химзавода до станции. Пусть отдуваются за меня жители дер. Зеваки, а я займусь переодеванием — магазин еще ближе, чем станция. К погоне я уже остыл, рассчитал, что Апельсинычу вряд

ли предоставили линейный телефон, а пока в Город да там туда-сюда — долго еще до начала акции. Никакая акция еще и не начиналась, если без паники-то. Сейчас увидим, почему это мой костюм на мне — сразу видно, что с чужого плеча?

В магазине, толкая и подначивая друг друга, слонялась от отдела к отделу компания акселератов, и я сразу затерялся среди них, роста я всегда был небольшого, и со спины часто принимали меня за мальчишку, потом смущались, а я великодушно успокаивал, что маленькая собачка век щенок. А тут, когда поглядел в зеркало, впору было заскулить и поджать хвостик — до того у меня оказался щенячий, даже жалко-щенячий вид без всяких пословиц и шуток. Костюм же, складнее сказать, свисал, готовясь перейти к сползанию. Хорошо еще, подвернулись акселераты, если на них одежда и не болталась, зато они сами так вихлялись внутри своей одежды, что я мало чем выделялся среди них — одежда ли стремится сползти с тебя, ты ли выползаешь из нее, — какая разница для постороннего наблюдателя. Что же мне, так и ходить без конца за акселератами?

Но они тут же подсказали мне выход. Бросились вдруг мерить уцененное пластиковое пальто-недомерок. Перемерили и пошли дальше, а я померил и заплатил, так и не снимая пластика. Они пошли в обувной отдел, я в другую сторону, к головным уборам. Там нашлась фуражка-восьмигранка из такого же пластика — давно мечтал. Нет, заворачивать не нужно, надену. Акселераты запрыгали по лестнице на второй этаж, я подался на станцию.

Там до поезда, потом в поезде я обдумал все спокойно и по-глубокому, вплоть до свалки около трансформаторной будки. Во всех новых районах, в любых Черемушках, хоть предполагаю, и в московских Черемушках, обязательно образуются стихийные свалки.

Сначала в укромном месте — за кустами около забора или глухой стенки — возникает за ночь старый матрац с вывороченными пружинами, а то диван и уж вокруг них со временем что угодно. Если б вас ловили, как меня, и вы уходили от погони, конечно, у вас были бы другие мысли и планы, без свалки. У меня же они замыкались на свалке, которая образовалась в нашем микрорайоне около трансформаторной будки вокруг шкафа с разбитыми дверцами. Я даже рассчитал, что там выброшу свою кепку — она все еще торчала в кармане. Но корзина была важнее всего, плетеная корзина с надломленной ручкой и немного дырявым дном. Эта корзина уже несколько дней валялась под самым шкафом, сначала пустая, потом в нее закинули красный фетровый ботик и разбитую детскую гармошку, а я ходил мимо и прикидывал: приспособить ее или не приспособить, и тогда каждый раз выходило, что ни к чему — своя еще хорошая. Если б вас ловили, вы, конечно, ни о чем таком бы не думали, но как бы вы придумали сделать так, что без документов с одного на вас взгляда любой понимал: вот у этого человека или парня, если вы тоже омолодились, есть дом и понятное каждому в настоящий момент занятие. Не отрицаю, что-нибудь придумали бы и вы, но для меня ничего не выходило лучше, чем плетеная дырявая корзина с надломленной ручкой. Закрыв дырявое доньшко, закрутил надломленную ручку проводом или изоляционной синей лентой, прижал корзину локтем к боку, и готово дело — грибник. Есть у грибника дом? С пустой корзиной — значит из дома на вокзал, на автобус, на сборный пункт, за грибами.

Когда тебе что нужно, так и кажется: а ну-ка перехватят из-под носа. Это и беспокоило меня больше всего, больше даже погони, видимо, я к погоне почти привык. Уж очень складно получалось с корзиной — и паспорт, и орудие производства, я ведь решил, что буду

мотаться по лесам до победного, пока не найду еще где-нибудь сорочьих глаз для человечества. Попутно займусь грибами, чтобы добывать деньги на пропитание. Никогда не торговал на рынке, а тут чего не сделаешь, раз для пользы человечества. Только не увели бы корзину. А еще меня беспокоило, когда электричка проезжала мимо ребят, которые играли в футбол. Мне тоже хотелось играть в футбол, до того хотелось, что я растерялся и потянулся потрогать усы, которые сбрил еще в тот день в бане. И больше не брился. Но на месте усов не кололось, не отросла за эти дни щетина. В магазине я так и не посмотрел на себя — на костюм, на пальто глядел, а на себя нет.

Тут по вагону прошли два милиционера, они тоже не посмотрели на меня. Они-то делали вид, что ни на кого не смотрят, но я заметил, что разглядывают, не глядя, всех мужчин, особенно помоложе, один милиционер косился вправо, другой — влево. На меня же мой, правый, милиционер не посмотрел на самом деле, пропустил, как явно неподходящий и не стоящий внимания объект. Может быть, не начиналась еще погоня? Но перед самым Городом милиционеры, возвращаясь, провели к головному вагону парня в ярком свитере, наподобие тех, что продавались давеча на Конечной, и похожего на Жору, как бы его описал Лимоныч. Парень оборачивался на милиционеров, а те говорили: разберемся, разберемся. Может быть, по моему делу? Почему не меня? Из-за пальто и восьмигранника?

Не только. Не только. В вокзальном туалете я долго рассматривал свою физиономию в узком зеркале над умывальником и убедился, что не только из-за восьмигранника и пальто, не только. Я смотрел в незнакомое свое лицо и талдычил про себя: не только.

— Ну что, пацан, очень доволен собой? — спросил железнодорожник, проходя к кабинам.

— Не только, — вырвалось у меня вслух.

Вот оно: пацан! Еще утром я был в студенческом возрасте, а сейчас, к вечеру, сам вижу, что мальчишка. Не пальто и восьмигранник, а возраст сделал меня неуловимым.

Теперь, значит, можно отбросить погоню, хоть я к ней и привык, отбросить навсегда и окончательно. А себя всецело направить на служение человечеству, и вперед — за корзиной! Должно быть, уж такой психологический закон нашего естества — как только человек попадает в крупную беду, так и вспоминает, что мог бы послужить человечеству, и даже берет обязательства. Но у меня-то выстроилось на самом деле — ничего личного, все для человечества, каждый шаг и в том числе корзина с надломленной ручкой. С кепкой уже незачем было мудрить, я выкинул ее тут же в мусорный ящик рядом с вокзальным туалетом.

Кому никому, а предъявление ягод — только тогда и выйдет разговор. С кем ни с кем. Но, оказывается, не все я учитывал в своем плане, хотя мне-то казалось, что все.

К последней электричке у меня было полное грибниковое вооружение — в починенной корзине, никто ее, конечно, не увел, находился пластиковый пакет с колбасой-булкой-сыром и фляжка с водой. С таким паспортом через любую таможенную без досмотра! Не хватало только резиновых сапог, чтобы уж в любую погоду, обязательно надо купить с первой же грибной выручки и поменьше размером. В моих ботинках ноге стало чересчур свободно, и я напихал в них бумаги и положил стельки.

Начать свои поиски я решил с тех мест, где не бывал ни разу после того, как нам дали квартиру в новом районе. Почему-то у грибников сложилось обыкновение, если собираются ехать с вечера, то уезжать обязательно с последней электричкой. И хотя сплошь и рядом попадают на вокзал заходя и спокойно могли бы

сесть в предпоследнюю или еще раньше, по-чумовому ждут последней. В ней всегдалюдно, а уж в третий вагон и не суйся — место свиданий. Чаше договариваются: третий от головы или третий от хвоста — считается, третий легче запомнить. На городских попутных платформах грибники сразу бросаются к третьим вагонам, как бы не опоздать на свидание с такими же пенсионерами, как сами. Да и одиночки тоже стремятся присоседиться в третьем, авось кто проговорится о заветном месте. Я сам всегда, хоть и не подслушивал, но предпочитал третий. Теперь же забрался в четвертый: вроде и дочинить корзину, и вытянуться на диване, когда захочется спать, на самом же деле уединился из-за своей необычности, не исключено, что опасался разоблачения или еще чего. Корзина же не требовала никакой допочинки, спать мне тоже не хотелось — ни в одном глазу. Ну и пошли размышления. Больше суток на ногах, в бегах и не устал. От нервотрепки, что ли? С другой стороны, какая у пацана нервотрепка? Настроение у меня сбивалось преимущественно на смешное, легкомысленное, без конца хотелось мороженого. Покупал, ел, а хотелось еще. Забывал даже временами о своем долге насчет человечества. Стал мечтать, что теперь смогу поступить в летное училище, а там и на космонавта. Вспоминал котенка, как он махнул через забор или как еще до ягод чесал задней ногой за ухом — уж так выходило для меня смешно, оттого что задней ногой, а за ухом! Потянуло попрыгать на одной ножке. Побежать бы сейчас к маме и рассказать про котенка. Вот насколько затянуло меня в детство. Какая уж мама! Обдало сознанием полного одиночества, но не всерьез. Скользнула мысль, не податься ли в детдом и начать все сначала — и не в космонавты, а в артисты, даже в цирковые дрессировщики. Спыхватывался, будил взрослое сознание, чтобы призвать к порядку несознательного сопляка.

Так потом и шло: старик возводил плотину из «надо», «стыдно», «обязан», «человечество»; и ее все чаще просасывало: «а я не буду», «а я хочу», «мне так хорошо». И вдруг сносило плотину начисто. Старику даже нравилось любоваться безрассудством, и он все ленивее с каждым разом брался за новую плотину. С такой слегка обузданной стихией в голове я носился с корзиной по лесам, набирал грибов, вырезал свистушки, затаиваясь, подстерегал белок — посмотреть, как они скачут по сучьям или, заметив меня, прячутся за ствол, обняв его цапучими лапками, а потом, словно приглашая поиграть, высовывают из-за ствола мордочки. Сдается мне, не разыскивал я в те времена толком ягоды. Вот именно — времена. Сколько, что происходило, представляется отрывочно и туманно-расплывчатым.

Вся рыночная деятельность совсем как бы стерлась, только помнится, как отрывок из кинофильма: я в грибном ряду, и все смеются, я тоже смеюсь, и, может быть, смеются надо мной. И еще хмурый старик в кожанке, про которого говорили: торгует от жадности. Во времена я не спал, ни разу не захотелось. Прятал корзину, нашлось такое место около пустыря, на котором всегда какие-нибудь ребята играли в футбол. Я тоже играл. Сначала смотрел, а потом как-то позвали: ей ты, Старый, вставай в защиту! Так и звали: Старый. Чем неожиданнее или страннее прозвище, тем глубже, вероятно, спрятана его причина. Ведь почувствовали каким-то образом ребята с пустыря мою сущность. А то я ходил в кино, часто с сеанса на сеанс. Любил по-прежнему париться в бане. В баню пускали и вечером, не то что в кино. Последняя электричка, и на рассвете — в леса. Мелькание времен. Веселые времена, хоть и стертые, словно глядишь с карусели.

Как-то в последней электричке, в четвертом вагоне (не от желания уединиться, а уже от привычки садился только в четвертый вагон), ненадолго приостанови-

лась карусель, и спокойно представилось и разграничилось прошлое, то, что есть и что, возможно, будет. Я потянулся за спичечной коробкой, в которой у меня все еще хранились те, обратные ягоды — возможность возвращения, и открыл ее: что, если съесть две-три ягоды и перестать молодеть? «Что-то ты, мальчик, не вверх, а будто в землю растешь», — сказал мне пространщик в бане, и я стал ходить в другую баню. Или даже немного постареть? Но тут карусель снова тронулась, и стерлись границы, замелькали, убыстряясь, времена со всеми веселыми соблазнами. На ходу как отпечаталось: память мешает счастью... мудрость — преддверие смерти... Последнее, как себя помню, — сижу с открытой спичечной коробкой в руках, и меня заливает блаженство карусели, и мысли все проще, а радость все больше. Пусть всегда будет мама! И по складам: ма-ма, м-а, а-а. Мелькнули нарисованные человечки — огуречки, накрученные разноцветными карандашами клубки линий, и не осталось никакой памяти — только сознание бытия, радости, что бытие начинается с ничего, с чистоты. Я думаю, что взаправду могла бы начаться новая жизнь сознания, памяти от нуля. Пройди какое-то время, чтобы возврат стертых воспоминаний не мог бы уже состояться... Но получилось по-другому. В руках у меня оставалась открытая коробочка с ягодами, и руки немедленно, по закону первичного освоения среды, начиная от нуля, потащили ягоды в рот и перетаскали всю коробку. Так мне мнится то, что произошло вне сознания. И старая память, не успев сгинуть, попятилась на свое место.

Я очнулся с пустой коробкой в руке, скованностью в мышцах и с непреодолимой сонливостью и сейчас же уснул, прикорнув к корзинке. Окончательно пришел в себя в больнице, говорят, не очень скоро, а назвался еще позже. Не скрывал, а не знал сам. Глядел в зеркало на заросшее щетиной, морщинистое свое лицо и

вдруг вспомнил, что было и кто я. Что было, я не рассказывал никому. Жена. Похоронили за это время жену. Последний раз я слышал тогда ее удаляющиеся шаги. В памяти же они звучат до сих пор.

Сам я дряхлею быстрее, чем положено для моего возраста. Считается, что у меня был провал памяти, вернее всего, от запоя. Когда меня обнаружили в вагоне, отвезли в вытрезвитель и даже потом не признали это за ошибку и предъявили иск за вытрезвление. Сосед и садовод Ананасыч навещает меня. Про запой он, конечно, первый догадался. Но многое ему все-таки неясно, и он хотел бы выяснить, в какой одежде я вернулся из больницы. Много раз пускался рассказывать про мнимого Жору и запутывался, только твердо верил, что в последний день Жора торопился на уколы, и Хлорофосыч догадался, что на уколы, сам в молодости лечился и помнил, как важно не пропустить очередной укол.

На улице у меня кружится голова, и трудно оторвать ногу от земли, чтобы шагнуть. Невозможно представить, как я будущим летом выберусь за ягодами, за сорочьим глазом. Неужто так и не принесу пользу человечеству. Томатыч еще рассказывал, что котиче, который сожрал, по его предположению, соседского котенка и жил в лесу около садовых участков, сдох недавно и, что интересно, пришел сдыхать на крышу сарайчика, где любил греться на солнце сожранный им котенок.

Я вспоминаю, как котенок чесал за ухом задней лапкой, вспоминаю, что мы не в пустыне, но мне не становится от этого легче, и я не могу выжать хотя бы слабкой, хотя бы тени улыбки.

Сам уже думал, что не будет продолжения. И на-кось. Служу в армии. Отличник боевой подготовки, второй спортивный разряд по гимнастике.

Выжил! Заставил себя выжить. Чем слабее я стано-

вился, тем крепче тревожило меня сознание, что должен я оставить людям свою находку. Выходило: если помру — совершу дополнительное предательство по отношению к человечеству. Значит, нет мне святее долга, как доживать до нового урожая ягод, чтобы собрать, а уж потом отдавать с объяснением и доказательством. Еще, кроме сознательности, помогла мне подаренная соседом-садоводом Шампиньонычем трехлитровая банка живого витамина — протертая с сахаром черная смородина.

— Бегать будешь как молодой олень, — внушал Клумбыч, — мы с тобой, глядишь, поставим на участке новый сарайчик! — Тут он по инерции вспоминал свою работу с Жорой, крикал и уходил размышлять домой.

За зиму через ягодник прокопали канаву, уложили в нее трубопровод, закидали землей, а когда я добрался до заветного места, сошел и снег. Разрушения оказались поменьше, чем я ожидал, — вокруг обломков стеблей приплюснулись нетронутые розетки прошлогодних листьев. Остальные кустики освободил, отгребая растопыренными пальцами наваленную на них глину из канавы. Уцелел ягодник. Выжил и он. А я принял и другие меры: перенес несколько растений вместе с дерном на дальние полянки поглоуше.

Хочешь не хочешь, но от физической нагрузки, от лесного воздуха наберешься силы. Слышал, называли меня во дворе старичком бодрячком. А Шпинатыч все чаще намекал, что в самую мне пору с таким поправленным здоровьем погостить на его участке. Да только получилось нескладно — не смог я отблагодарить его за живые витамины, не хватило времени на новый сарайчик.

Зацвели мои кустики в июне, и тогда же проникла в лес засуха — с весны ни одного дождя и жара. Одно спасение — поливы. Либо вечером, либо утром на рас-

свете. Хорошо, в радиусе полукилометра нашлось два болотца. Сначала просто черпал из них воду пластмассовым ведром, потом разгреб торф, чтобы вода собиралась в углубление. Через несколько же дней пришлось действовать лопатой и копать на болотцах метровые ямы. Я спасал ягодник, а его цветы — меня. Они пахли тоже по-разному: на каких кустах противно-приторно, на каких — сладко-нежно. От нежного запаха проходила усталость. Таких кустов, по моим подсчетам, оказалось больше, и завязи появились сначала на них. Но радоваться было рано. Кругом говорили о лесных пожарах. И вот как-то под утро мне приснилось, что кусты сорочьего глаза погибают в огне и едком дыму.

Дым был не только во сне, дым, едкий, торфяной, и наяву накрыл весь город, проник в дома и затруднял дыхание. Конечно, страшно было, но уже по дороге узнал — загорелись торфяники с другой стороны города, не менее чем в семидесяти километрах. Однако и у меня высохли колодцы. Пришлось ходить за водой на озеро — три километра в один конец. Хоть и нанюхаюсь цветов, а обратный путь с полными канистрой, флягами и ведром — чуть не ползком. Мало того, старался каждый раз ходить другой дорогой, чтобы не вытоптать тропинку, не завлечь по ней в ягодник. Особенно стал опасаться, что все расстроится под конец, когда начали созревать первые ягоды. Того гляди вспыхнет пожар или кто-нибудь случайно повредит или уничтожит кусты. Несколько раз даже ночевал в кучах валежника поблизости.

И все-таки не допустил себя проявить нервозность, торопливость: съел первую ягоду только по достижении ею полной спелости, когда налилась прозрачностью и замерцала изнутри красной точкой. Чтобы не помолодеть опять слишком скоро, ограничился всего одной ягодой, хотя созрело сразу четыре. Итак, вступила в действие моя программа, в которой не было места старым

ошибкам. Сохранить весь урожай? Пожалуйста, аккуратно снял оставшиеся три сегодняшние спелые ягодки и благополучно доставил их в холодильник. Наблюдать за действием на меня омолаживающих средств? — приготовил блокнот для записи наблюдений.

Но за вечер ничего не заметил, спать захотелось сразу после ужина, как и вчера, как в каждый из последних дней, и усталость через край. Насторожил будильник: поспеть на первой электричке к утреннему поливу до жаркого солнца — приспособился привозить с собой наполненные канистру и фляги в рюкзаке. Одним походом на озеро выходило меньше. Вскочил по звонку как будто полегче, как будто бодрее. Да разве как будто научно? А то, что летал во сне, вспомнил лишь на перроне, когда переступал в вагон, по сходности движения ног. Снилось: летал над озером — оттолкнулся от берега и понесся над водой, поджав ноги; если начинал чиркать по воде — шлепал ладошкой по упругой глади и снова вверх! Блокнот для строго последовательных записей, как назло, остался дома. В самом начале вышел сбой. Вернулся в тот день еще позже, чем в предыдущий, уснул мгновенно, вскочил, когда будильниковая пружина на исходе завода лишь тренькала легонько звонком, где уж тут фиксировать наблюдения. Можно сказать, сами наблюдения тоже не вел, как намеревался, чтобы скрупулезно, час за часом. Где там! Не выдержал методику в самом истоке программы, а без нее нет никакой науки. Вот почему в вузах прежде всего требуют освоить методику, когда войдет в привычку, тогда и ученый, тогда и наука.

Я, вишь ты, второй раз прохожу омоложение, взять же начистоту, что знаю о процессе? Дважды начальные стадии проглядел в их грубом внешнем проявлении, не говоря уж о температуре, давлении, изменениях в крови, не записал и чисто субъективные реакции моего организма, включая мозг. Запоминал только, когда уж яв-

ственно натыкался носом, как на этот полет во сне. И еще, тогда же, после утреннего полива, не отдыхая, направился к озеру и дошел до него без привала — накануне присаживался трижды и на дорогу клал два часа. Тут показалось, что в три раза скорей, но не заметил точного времени по часам. На озере впервые за все знойное лето потянуло искупаться — плывал долго и с удовольствием. Что пошло на поправку — явно. Хотя я и не сомневался, обязательно пойдет, раз съел ягоду. Однако насколько продвинулось омоложение? Самое же основополагающее: у меня нет критерия для дозировки приема ягод.

Гляньте-ка, гляньте! Правильным научным методом человек не овладел, а уже зазнался, позволяет себе шлепать терминами: критерий... основополагающий... Вопрос-то узкий, примитивный: когда мне сжевать следующую ягоду? Сегодня, через день, через неделю? Его даже можно поставить еще ближе к моей практике: как бы мне снова не стать мальчишкой. Ведь тогда опять ничего не успею сделать для человечества.

Для полной ясности расскажу, как у меня задумано: внешне остаюсь стариком, хотя и довожу себя с помощью ягод до высокой работоспособности, и постепенно внедряю открытие. Переомоложусь — придется скрываться, выкручиваться, прощай наука. Вот почему мне нужен точный внешний показатель хода омоложения, кроме внутреннего самочувствия. Самочувствие-то надо поддерживать отличное, иначе ненароком схлопочешь либо инфаркт, либо инсульт. Показатель же нашелся — и совершенно простой. Для определения темпа омоложения я применил кронциркуль и морщины, которые идут от глаз веером к вискам. Можно было бы сказать использовал, но это слово звучит неопределенно, без твердости и не обещает точного результата. Применил кронциркуль и морщины. Именной кронциркуль, мне вручили его от завода в день проводов на пен-

сию вместе с личным клеймом. Замерил морщины с точностью до десятых по нониусу и нанес на чертеж. Начнут быстро укорачиваться — перерыв курации. Правильная методика — основа науки. И точные самостоятельные слова. Я уже знаю, в каком стиле буду писать свою научную работу. Применил кронциркуль и морщины. Только так!

К началу августа весь урожай постепенно созрел и так же постепенно был собран до единой ягодки. Отдельно красные. Отдельно желтые. Часть высушил и из них некоторые посадил, как семена, на глухих полянах для страховки на случай гибели основных плантаций. Кстати, и засуха кончилась, полили дожди — прорастут семена. Основную же часть ягод я оставил на хранение в холодильнике в свежем виде. Теперь с лесом до весны покончено, наступила пора внедрять открытие.

Сначала кажется, что такое открытие нипочем не залежится, что оно помчится по зеленой улице. И помчится точно, но только с тех пор, как убедятся медики-геронтологи или эндокринологи: да, действительно, прием ягод сорочий глаз перорально замедляет старение живых клеток и даже приводит к их омоложению, а прием так-то и так-то ...тонно и фухти-мухти визуально то-то и то-то, через так-то. Но если я приду с улицы к профессору и протяну к нему даже не в горстке, а в элегантнейшем пластмассовом пакетике свои чудотворные ягоды — пожалуйста, профессор, ягоды жизни, к завтраму помолодеете... к утречку, — надо ли объяснять, что случится? Если кому надо, пусть тому объясняют умные люди. Им же, умным людям, не надо, по-моему, объяснять, что равно бесполезно обещать к утречку и в письменном виде. Спросите этих людей, от чего случался больший вред человечеству — от неверия в открывателей или от доверия шарлатанам и мошенникам? Может быть, они гораздо ярче и убедительней докажут вам, что

мошенники и шарлатаны говорят и выглядят куда умнее и честнее настоящих, честных и умных открывателей, которых нам хочется заподозрить в чем-нибудь нехорошем гораздо чаще, чем мошенников.

Что же мне оставалось, с какого действовать конца? И как мне ни горько это сознавать, я поторопился, взял то, или, вернее сказать, схватил, то решение, которое лежало близко. В его близости я разобрался, конечно, потом, тогда же оно подкупило меня своей смелостью, оригинальностью. Случай, подумал, мне поможет, какой-нибудь случай. Но лучше не ждать, а организовать такой счастливый-рассчастливый случай.

Допустим, у профессора есть дочь, я на ней женюсь и как-нибудь за семейным чаем вынимаю горстку ягод: вот, говорю, папа, к завтрашнему... Сложно. Профессор может оказаться женщиной, или нет дочери, да и я сам ведь не собираюсь сейчас омолаживаться в соответствии с моей программой. Если же у профессора, положим, испортился автомобиль, профессор лезет под капот, а тут я — жик-брик, чик-брик, ведь двадцать лет механиком, готов. Слово за слово. Ну и как же тут вмазать: перорально... пожалуйте... Не то.

Все-таки чего стоит человеческое тщеславие. Вспомнил я между прочим, так, мелькнуло среди многого, мол, есть слово эврика. Выкрикивают его ученые, когда находят желаемое. Мне бы найти чего позакovsky-ристей, и я бы шарахнул: эврика! Да, хорошо бы. И не уходит она из моего круга внимания. Уж так мне хочется воскликнуть, по вдохновению. Воскликнул, дождал вдохновение, мне и на самом деле показалось это прозрением, хотя, как выяснилось, на проверку лежало близко.

— Эврика! Крысы! Какой-никакой ученый, крысы-го у него есть! Путь к сердцу эндокринолога лежит через крысиный желудок!

Наверняка кому-нибудь тоже покажется это прозре-

нием, оригинальной находкой. Но для меня ясно, что сбился я с достойного пути, пошел сомнительным оттого лишь, что выглядел он ближним, сулящим быстрый успех. Ну как тут было не вспомнить, сколько плутов находило путь к сердцу, в душу и куда угодно и через желудок, и через многое и похуже желудка. Не вспомнил. И, вернее всего, нарочно не дал себе передышки, чтобы не усомниться, не вспомнить, не опомниться вдруг, стремился скорее приступить к действию. Словом, совершенно противоположный случай шекспировскому Гамлету. Тот медлил, примеривался, как бы найти честное и благородное решение для неблагородной задачи — мести. А я с благородным своим открытием из-за поспешности встрял в мошенничество. Честный человек должен находить благородный путь еще и потому, что на бесчестном он окажется слабаком низкой квалификации. Кабы по-настоящему мошенничать, с размахом, то не трусливо через лабораторных крыс, а через домашних кошек с собаками.

Небось многие эндокринологи и геронтологи держат животных, любимых; лабораторных-то им и нельзя любить — это не животные, а только материал. Разыскать одного такого эндо-геро, допустим, гуляет с собакой. Ах, красивая собака! Разрешите погладить? Тут и повело. Сколько лет собачке? Ай, ай. Жаль, жаль. Такая красивая собака! Раза три встретились — вот и почва. Забрасывается крючок, что существует средство для собачьего старения, в смысле против старения. Знаю одного собачника, не поверите, совершенно взбодрил своего кобелька, похудел, и шерсть перестала лезть. Владелец водил его даже на вязку, и, утверждает, с полным успехом. Конечно, узнаю, помилуйте, даст — принесу непременно. Ничего удивительного — эндо, геро на работе, а дома для ненаглядного Авы или Мявы сгодятся и знахарские снадобья. Вот так надо организовывать счастливый-рассчастливый случай с учетом мало-маль-

ски квалифицированной практики, мошеннической, естественно.

Я же помчался наниматься в лаборанты при опытных крысах, так как знал об этой вакансии от пенсионеров нашего двора. Вон отчего получилась эврика-то. Знал, помнил, ухватился, ах, какой мыслитель. Ах, эврика! Так и потерял несколько лет. Однако мог бы, возможно, действовать ловчее даже в чине крысиного лаборанта. Присмотреться, изучить людей, взаимоотношения, включая скрытые, поработать хоть полгода. Но я пребывал все еще в восторге от эврики и жаждал поскорее возгласить ее снова, опять пережить ни с чем не сравнимый умственный взлет. Как раз то, с чем ученый, овладевший правильной методикой, бдительно воюет и в себе, и в своих сотрудниках, пресекает зуд поскорее желаемое зачислить в действительное. Я же не боролся, не подавлял, наоборот, разжигал мечту скорее заполучить свой счастливый случай.

И чуть ли не на первой неделе моих дежурств — вот оно! Даже похолодело на желудке — услышал я знаменательный разговор научных сотрудниц около клетки:

— Шеф сказал, что эта крыса сдохнет завтра утром.

— Не может быть. Бодрая, веселая.

— Ты недавно у нас в лаборатории и не знаешь, что шеф не ошибается никогда.

— Нет, не могу поверить, такая витальность.

— Пари?

— Пари!

Они прошерохтели мимо меня крахмальными халатами, в ореоле взбитых причесок и в облаке египетских духов.

Куда же лучше, чего еще мне ждать, если не сдохнет — непременно сообщат этому самому шефу — руководителю лаборатории, немедленно начнется научный шухер, что да как, и, пожалуйста, готово мое дело. Эврика! Не растаял даже аромат духов около клетки, как я из-

ловчился сунуть крысе ягоду. Сlopала охотно. Есть первый эксперимент, вернее всего, решающий эксперимент. Да не где-нибудь на садовом участке, в настоящей научной лаборатории, на добротном научном материале. До конца дежурства я представлял, какая тут развернется под моим руководством исследовательская работа, сколько появится новых научных сотрудниц в потрескивающих крахмальных халатах, высоких и разных других ростов, со взбитыми и гладкими прическами, благоуханию же самых приятнейших духов, вплоть до французских, не будет перерыва, и оно начисто забьет запах экспериментального материала.

Спорная крыса до самого моего ухода чистила брюшко, поводила усами и отчетливо подмигивала, будто хотела сказать: дай вторую ягоду перорально. Я тоже подмигнул ей на прощание, но вторую ягоду решил отложить до утра.

Ночные полеты на этот раз я совершал исключительно по огромным лабораторным залам в сопровождении сонма причесок и белых халатов. Потом вдруг мне при снилась издыхающая крыса, и я на всякий случай пришел на работу пораньше. Шеф действительно знал свое дело — крыса еле-еле дышала и не почуяла подsunутую ей под самый нос ягоду. Тогда я, недолго думая, разжевал ягоду и намазал кашицей крысиную мордочку. Крыса двинула усами, поморщила ноздри, высунула язык, слизнула ближние крошки раз, два, постепенно слизала все, что достала языком, перевалилась на бок, сняла остатки кашицы с усов, с шерстки. Я подsunул ей еще. К началу занятий крыса по-деловому шустрила, гладила шерстку на брюхе и оттягивала усы за уши.

Я пристроился неподалеку чистить свободную клетку с расчетом лучше увидеть и услышать, какие будут складываться события вокруг моей крысы. Конечно, не миновать большой научной и общественной заинтересованности, сенсации со сбором всех эндокринологических

сотрудников на экстренный симпозиум. Ну и мое неожиданное сообщение с демонстрацией ягод, специально переложенных в нагрудный карман моего синего халата. Надо прикинуть, поместятся ли в виварии телекамеры и осветительные приборы. Только бы не начать заикаться перед микрофоном.

И с самого начала все пошло точно, как я предполагал, — прошуршали халаты, повеяли ароматы, раздались возгласы, потом распоряжение:

— Немедленно за шефом!

Через считанные мгновения появился и шеф-зав. лабораторией, он не пах духами, халат на нем не топорщился от крахмала, он поздоровался со мной, покосившись на мой нагрудный карман, в котором лежала коробочка из-под вазелина с ягодами. Или мне показалось, что на карман. Не останавливаясь, шеф прихватил табуретку, хлопнулся на нее около клетки и уставился на крысу. Крыса тоже заинтересовалась, села на хвост и, глядя на него, теребила лапами усы, норовя затянуть их на затылок.

— Очень прекрасно! — сказал шкаф-зав. лабораторией своим сотрудницам. Потом, не вставая с табуретки, он повернулся к крысе спиной и показал на мой карман, в котором лежала коробочка из-под вазелина с ягодами.

— Теперь признавайтесь, ваша работа?

Я кивнул и полез в карман за коробочкой.

— Исключительно превосходно! Видите, он признается и рассчитывает предъявить нам открытую им панацею или эликсир жизни. Я правильно вас понял?

Я кивнул и протянул ему коробочку с ягодами.

— Не играет значения! — шеф-зав. лабораторией отстранил коробочку. — Даже если бы вы и не подменили издохшую крысу живой, а на самом деле оживили десять или сто издыхающих крыс, то и тогда я не взял бы вашу жестяную баночку. Поймите меня даже неправильно, но наш план забит до конца века, ждут испыта-

ний сотни препаратов отечественных, десятки импортных, за которые плачено не только золотом, но и алмазами, поймите меня хотя бы неправильно!

А когда я пришел к нему подписывать обходной лист, шеф-зав. лабораторией рассказал мне в утешение, что в соседнюю типографию нанялся в вахтеры один пенсионер, чтобы при случае напечатать там по благу свои песни и мемуары. Рассказал и опять попросил понять его даже неправильно. Я сказал: понял. Он обрадовался и сказал, что это даже чересчур очень прекрасно. Мы расстались: он — неколебимо уверенный, что я подменил крысу, я — растерянный и посрамленный.

Ненадолго. Дома я утешился, измерив морщины своим именным кронциркулем, — они укоротились на две десятых миллиметра. Ну, ошибся, не так действовал, сорвалось — и должно было сорваться, поймите меня... стоп... Стоп, почему же это у шефа так убедительно звучало поймите меня хотя бы неправильно? Какой толк от такого понимания? И все эти его «чересчур очень прекрасно»... Выходит, многого я не в состоянии охватить не то чтобы правильно, а хоть чуть-чуть или кое-как. Ведь лезу в науку. С другой стороны, морщины-то, ягоды-то...

И тут же начал, как говорят кибернетики, проигрывать другой вариант с крысой. Не с той и не со следующей, а с десятой или двадцать пятой, когда уже шеф-зав. давно бы ко мне привык, пригляделся, притерпелся. Но проигрывание каждый раз застопоривалось, непременно шеф глядел на мой карман, лишь только я выводил его на сцену. Мне же хотелось, чтобы он перестал ограждать от меня науку, словно я могу ее поранить, допустил к себе по-свойски, позволил шутить запросто и с ним, и про науку. Вот тогда и проигрался бы вариант — на спор при нем накормить издыхающую крысу ягодами, а я пригласил бы шефа-зав. лабораторией в соавторы. Короче говоря, я не одумался и по-прежнему мечтал на-

шупать черный ход в науку, через кухню или мусоропровод, как тот вахтер из типографии — в литературу. Смехотворную наивность вахтера я оценил тотчас, а вот что сам ничем от него не отличался, — гораздо позже.

Считал, не выгорело в одной научной конторе, выгорит в другой — бывают же среди ученых люди простецкие: и к себе пускают, и науку дают пощупать, пощекотать, ущипнуть и даже попробовать на зуб, чтобы убедился ты, как они властвуют над ней. На таких ученых я надеялся, когда проигрывал в своем воображении, что кормлю крысу на спор с ними и как они придут в восторг, оттого что вместе со мной послужат людям. А не замечал, что проигрываю не совсем корректно — беру в игру ученых, которые стараются поставить науку на службу только личным интересам, ожидал же от них бескорыстия. В то же время бескорыстных, бдительных истинных ученых зачислил в недоброжелатели. Оттого я снова сорвался надолго, и хорошо еще, что обошлось без больницы.

Наигрался в кибернетические игры досыта, навообразил допустимые и недопустимые заходы-подходы-выходы и поехал на другой конец города наниматься в лабораторию, связанную с геронтологией. Попробую, думал, бить в яблочко.

— У нас такой порядок, — сказали мне в кадрах, — кто поступает в лаборанты, идет сначала к руководителю.

Посмотрел он мои документы и предлагает:

— Поступайте лучше в поливитаминную группу, почти рядом с вашим домом, и зарплата у них на десять рублей выше.

Такого захода-поворота я почему-то не проигрывал, пришлось пускаться в импровизацию. Не допер сказать: меняюсь сюда квартирой, уж куда проще. Нет, принялся мэкать, экать, таксказакать, вроде бы у меня призвание к геронтологии. Удивительно, когда это произошло, что

научные наши силы настолько созрели. Читал в газетах и журналах, видел по телеку и в кинофильмах: мягкие, совершенно не хитрые люди, умные, добрые — это да, пожалуйста. Здесь — холодность во взгляде, точность в словах и никакой рассеянности. Тот допек меня типографией, и «поймите меня даже неправильно», этот — вопросами, по виду простыми, но с подоплекой.

Физически получалось, будто подо мной не стул, а сковородка, морально же я оказывался заподозренным, что собираюсь тут у них тибрить из крысиных и стариковских лекарств себе на омоложение, как только подгляжу, лучшие средства. Чем больше я импровизировал, тем горячее мне было сидеть, а совесть моя забилась куда-то, чувствую только, сжимается от стыда. Махнул рукой — выложил все начистоту про ягоды.

Он же как ни в чем не бывало втыкает свои вопросы. И уже не иносказательно, а все как есть: что я, выходит, собираюсь не только портить экспериментальный материал — крыс со свинками, но и готов нанести непоправимый вред их престарелым пациентам своими знахарскими снадобьями.

— Какой вред? Какой вред? — Я совершенно потерялся. — Да я... Да это... Вот... Вот...

Дрожащими от жестокой обиды и несправедливости руками я вытащил коробочку или, правильное назвать, жестяную баночку с ягодами, начал ею трясти чуть не у самого лица руководителя. Впечатление со стороны трудно даже представить, вероятно, походило мое объяснение на сеанс исступленного шаманства или пьяного откровения на мотив об уважении. Налезая словами на слова, перескакивая с мысли на мысль, пытался я толковать о пользе для человечества, заключенной в скромной коробочке... да, тьфу! — в жестяной баночке.

— Не стариков обкрадывать, не их, не как крыс, чтобы опыты, я сам могу кого угодно, показать самое простое, на себе, на себе любое омоложение. Вот!

Я открыл баночку, пересыпал ягоды на ладонь горкой. Опять сунул их под нос руководителю, потом опрокинул всю горку себе в рот и стал быстро жевать и глотать, приговаривая:

— Вот, вот! — так, словно жевал и проглатывал все те нелепые и оскорбительные подозрения, которые содержались в его вопросах.

— Вот! — сказал я в последний раз, проглотив последнюю ягоду, и тут вспомнил своего соседа. Как же я теперь покажусь своему Розанычу? С испугу попросил руководителя совершенно даже растерянно:

— Вы, пожалуйста, приглядитесь сейчас ко мне, чтобы узнать завтра, я ведь буду помоложе, — и вдруг противненько прихихикнул и, как ни старался овладеть собой, сохранить достоинство, сказать веско: — Вы сами увидите завтра! — окончательно застыдился и выскочил из кабинета.

Иного ждать было нечего, раз запустил в ход ягодную механику — к следующему утру я резко помолодел, почернел волосами, посветлел лицом. Хотя очень мне было муторно за вчерашнее, поехал к руководителю по геронтологии с надеждой на достойный прием.

— К сожалению... ра... ича нет, выехал он в командировку на двадцать дней.

Одного этого было вполне достаточно, но меня, видно, решили посрамить окончательно и сообщили вдобавок:

— А вам и вашим братьям — старшему, который был здесь вчера, и всем младшим — он просил передать, что такое с ним случилось, пробовали другие братья. Вы даже и не вторые.

Спасибо, не поскупились, объяснили, что он имел в виду. Есть, оказывается, такие люди: как чего появляется нового, они непременно чувят в этом плутовство или розыгрыш и тут же начинают выкручивать, как бы и им тоже принять участие. Одним — откусить от жирного пирога, другим — повеселиться на счет доверчивых про-

стаков, исхитряются всячески. Ну, взять, например, как вышло с парапсихологией. Кто-то нащупал где-то какие-то проблески, неясности, а они тут как тут, держат телепатическую связь через океаны, видят сквозь броню, двигают мыслью колбасу и магнитные стрелки. Если среди них окажется случайно кто настоящий, и его неминуемо зачислят в плуты или клоуны.

С братьями же так. Приходит старший и говорит, совсем как я: имею омолаживающее средство, нашел или изобрел, могу продемонстрировать на себе. И тоже, как я, заглатывает на глазах врачей порцию. Назавтра является — по виду не отличишь, как будто он самый, только на пять лет моложе, послезавтра — на десять. Где-то четыре брата тайком подменивали друг друга по очереди в клинике — ночью, через туалет. Все вроде на глазах у врачей: вечером укладывают спать старика, утром на его месте пожилой мужчина, еще через два дня — дядечка в полном соку и требует: хочу домой.

— Скажите спасибо, что наш руководитель не сообщил в милицию! Уж очень наивно и неопытно, говорит, действовал ваш старший брат, возможно, впервые, понадеялся, может, останетесь честными людьми.

Даже в банной парилке я так никогда не краснел, как у этих геронтологов. Наверняка, сообщил он в милицию, дело пошло бы прямее. Там не стали бы подгонять под бывшие случаи, там устанавливали бы факты — один за другим. Есть у меня план, и, возможно, после армии я поступлю в милицию. Но в тот момент я испугался милиции.

И хотя я сейчас осуждаю тот мелкий страх, боязнь идти прямой дорогой, все-таки не встаю на нее, не докладываю, например, командиру, кто я такой, что знаю и что могу дать людям, нашей медицине. Остерегаюсь, опять все запутаю, не верю в свою способность к холодной логике. Решил ждать, пока жизнь сама выведет на прямую, а возможно, я на ней уже давно нахожусь, и иной,

более короткой, нет. Отслужу, поступлю в медицинский. Куда уж прямее. План, чтобы служить в милиции, не отклонение, не обход, а продолжение.

Попал же я на свою марафонскую прямую после того, как в последний раз лгал, изворачивался, заливаясь детскими обильными слезами. Очень противно вопил, со взвизгиваниями.

— Не знаю, не знаю... ююю! Меня послал дяденька, дяденька... ааа!

— Спросите, спросите, — то шепотом, то, забывшись, чуть не кричал милиционеру мой сосед Барбарисыч, — спросите, есть у него брат Жора?

Не обошлось и на этот раз без догадливого моего Дюшесыча. Он оказался главным действующим лицом, выследил подозрительного пацана и сообщил в милицию. Примерно как я запомнил, когда при мне зачитывали его заявление, что сосед его вновь исчез. Ткемалич написал: «обратно исчез», и выразил мнение, что снова, «как недопустимо признавали врачи, по недугу памяти».

Думаю, что нет никакой необходимости рассказывать, почему я снова стал мальчишкой. Побоялся принимать обратные ягоды. Хорошо еще, успел подготовиться к внезапной эвакуации — закопал в лесу записи, урожай ягод. Я и сам намеревался попасться на глаза соседу или его лупоглазой дочке — не было у меня другого выхода. На этот раз я гораздо тщательнее проиграл всякие возможности, включая самые фантастические. Но не прорезалось среди них ни одного, чтобы мог я обойтись без рева, соплей и слез. Поймите меня хотя бы неправильно.

— Дяденька послал, дяденькаааыы!

— Какой дяденька?

— У магазиныыы!

— Спросите про Жору-то!

— Отнеси, — сказал, — продуктыы... дал ключии... — Откуда берется у детей столько влаги, и что может быть убедительнее детских слез.

Нашлась в магазине продавщица, которая видела, как пожилой покупатель давал ребенку сумку с продуктами, и признала во мне того ребенка.

— Велел взять со стола деньги... два с полтиноой...

Такая сумма денег действительно лежала на столе, меня остановили, когда я открывал ключом наружный замок квартиры. По всему выходило, что про деньги я мог знать лишь от хозяина жилья — дяденьки у магазина. С Жорой же Апортыч настолько надоед милиции в прошлый раз, что его вежливо попросили не мешать следствию.

Вот тогда я понял — у милиции есть отличие от таких, как мой сосед Щавелич, и от таких, как шеф или руководитель, — она опирается только на полностью доказанные факты, стремится установить факт как он есть, а уж потом искать то, что привело к таким фактам, и тоже факты. Мои же знакомые, столкнувшись с фактом, сразу принимали наиболее вероятную его причину, делали выводы и совершали поступки.

Пропал старик, мальчик неизвестно чей — сколько можно сочинить вероятных причин, сделать выводов, совершить поступков?

— Не знаюю...ыыы!

— Где ты живешь?

— Иии...ый!

Старика объявили в розыск, моих родителей тоже, меня поместили в детский дом — точно, как я и проигрывал в своей кибернетике. Не подвела милиция. Хоть не докопались до глубинных причин, а действия точные.

Родители мои находились несколько раз. Одни: взглянут—нет, не он! Другие: «Не он, но мы готовы его усыновить». Третьи — моим обходным путем: «Наш это, наш Вася», — а мне мигают: соглашайся, мол, ничего для тебя не пожалею, будешь принцем. Подкарауливали с уговорами на улице, соблазняли машиной, кварти-

рой, дачами и даже садовыми участками. Меня — потомственного рабочего с сорокалетним производственным стажем. Как это правильно заведено в природе, что не подряд у людей получают свои дети.

С каждым прожитым заново днем я убеждался — чем дальше я от цели, тем больше надежда, что стану ее достойным. Вы еще услышите обо мне. А вдруг чего опять не выйдет, по моей вине или невезучести, непременно найду способ досказать свою историю, если не всем, то кому-нибудь. Положительного результата, чтобы вы раньше времени не беспокоились, рассчитываю достичь лет через шесть-восемь.

И то это очень даже чересчур отлично.

* * *

...Дверь была приотворена. Вровень с порогом на небе еще краснела полоска, выше густо стояли звезды. Засыпая, я несколько раз подумал:

«Неужели нельзя, чтобы не умирали люди? Не может быть, чтобы нельзя!..»

Выходит, навещала меня эта мысль вон еще когда, в самой первой моей молодости.

Не может быть, чтобы нельзя!

Человек достоин бессмертия.

СОДЕРЖАНИЕ

Рассказы

Зачем вспоминать сосны?	6
Псовая охота	13
Средневековая рукопись, или Тридцатый рассказ	21
Где-то в Сибири, в архивных папках	26
Время зажигать фонари	33
Встреча в пансионате	37
Разговор с глазу на глаз	42
Две верблюжки	47
Не-Клеопатра, не-Икар, не-Шерлок Холмс	50
Древняя рыба дважды	56
Детектив с Бабой Ягой	71
Печорный день	79
Прикосновение братьев	91
Достоверные картины лесной жизни	95
Масло	96
Паводок	101
Объяснение	103
Кружево	106
Сковорода	112
Перетомленное бигуди	115
Рыбная ловля по-боксерски	127
Электронные страдания	136
На торфяной тропинке	141
Самородок, люди и лошади	156
Отзовись, комбайнер!	172
Неоконченная повесть о лесных ягодах	183

Шашурин Д. М.

Ш32 Печорный день: Рассказы и повесть. — М.: Мол. гвардия, 1979. — 238 с., ил. — (Б-ка сов. фантастики).

70 к. 100 000 экз.

Фантастические произведения писателя Д. Шашурина лаконичны и своеобразны. Их сюжеты почерпнуты из прекрасного и во многом еще не познанного, подчас таинственного мира природы, герои сталкиваются с важными общественными, научными и нравственными проблемами нашей жизни.

P2

Ш 70302—087 239—79. 4700000000
078(02)—79

ИБ № 1748

Дмитрий Михайлович Шашурин

ПЕЧОРНЫЙ ДЕНЬ

Редактор Д. Зиберов

Художник Г. Метченко

Художественный редактор Б. Федотов

Технический редактор В. Пилкова

Корректоры: Т. Песнова, З. Харитонов

Сдано в набор 25.09 78. Подписано в печать 27.02.79. А04576. Формат 70×108^{1/32}. Бумага типографская № 2. Гарнитура «Литературная». Печать высокая. Условн. печ. л. 10,5. Учетно-изд. л. 10,3. Тираж 100 000 экз. Т. П. 1979 г., № 239. Цена 70 коп. Заказ 1501.

Типография ордена Трудового Красного Знамени издательства ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия». Адрес издательства и типографии: 103030, Москва, К 30, Сущевская, 21.

Сканирование - Беспалов
DjVu-кодирование - Беспалов



70 коп.

МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ



Библиотека советской фантастики

Дмитрий ШАШУРИН

ПЕЧОРНЫЙ ДЕНЬ



ПЕЧОРНЫЙ ДЕНЬ

Дмитрий ШАШУРИН